

# **ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ**

Стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее.

Ф.М. Достоевский.  
Сон смешного человека

Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова  
Философский факультет

А. В. ЩИПКОВ

# ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ

Москва



Торговый дом «Абрис»  
2018

УДК 301  
ББК 87.6  
Щ 86

Рекомендовано к печати Ученым советом  
философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

**Щипков А. В.**

Щ 86      Вопросы идеологии: Монография / А. В. Щипков. —  
М.: Абрис, 2018. — 317[3]с. — ISBN 978-5-00111-362-1

Книга политического философа Александра Щипкова «Вопросы идеологии» рассчитана на внимание читателей, интересующихся состоянием современного общества и его идеологического пространства. Автор исследует ныне существующие идеологии, развенчивает советские и постсоветские стереотипы, связанные с этой темой. По мнению автора, свободной от идеологии социальной позиции не бывает, и утверждение, что сегодня в России нет никакой идеологии, является ложным. Современная «правящая» идеология стремится замаскировать себя и предстать системой самоочевидных суждений. Поэтому вопроса «С идеологией или без?» не существует, зато стоит вопрос «Какую идеологию мы принимаем?». Книга предназначена для преподавателей и студентов светских и духовных высших учебных заведений, а также может быть использована для социальных исследований.

УДК 301  
ББК 87.6

ISBN 978-5-00111-362-1

© Щипков А. В., 2018  
© Торговый дом «Абрис»,  
художественное оформление, 2018  
Все права защищены

## Предисловие

### Состояние идеологического пространства

**С**егодня вопрос «Что такое идеология?» интересует не только узких специалистов — политологов, философов, культурологов, социологов, лингвистов — и политически активных граждан. Он стал предметом интересов большинства.

В какой-то мере этот интерес подтолкнуло развитие информационных и медиатехнологий, а также блогосферы. В то же время формирование массового интереса к сущности идеологии в России происходит с опозданием. Ведь на Западе анализ идеологического пространства, символической власти и войны дискурсов в сущности приобрел особое значение в глазах общества еще до того как были написаны программные тексты на эту тему за авторством Джорджо Агамбена, Карла Шмитта, Жака Деррида, Роллана Барта, Пьера Бурдьё, Юлиуса Эвола, Рене Генона и других известных авторов.

\*\*\*

Феномен идеологии — неотъемлемая часть культуры модернити. Социальная специализация идеологии связана с порождением особой картины мира, которая объясняет систему социальных отношений, создавая их вымышленный образ, своего рода социальный фантазм. Возможность сдвигов и изме-

нений внутри этого образа нередко служит основой для идеологических спекуляций и манипуляций сознанием масс.

Существует большое количество определений идеологии, причем выбор одного из них в огромной степени зависит от идеологических установок выбирающего субъекта<sup>1</sup>. Понимание природы идеологии есть не что иное, как идеологическое самоопределение говорящего.

Нередко говорят о «сконструированной реальности» идеологии, о ее манипулятивных возможностях. С точки зрения левой мысли, выработка идей всегда опосредована факторами власти, экономических интересов и классовой принадлежности, из чего следует определение идеологии как «превращенной формы сознания» или «ложного сознания», выражающего групповые

---

<sup>1</sup> См., например: *Bell D.* The Coming of Post' Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Harmondsworth, 1976; *Toffler A.* The Third Wave. 1980; *Castells M.* The Information Age. Oxford, 1996—1998; *Schiller H.* Information: A Shrinking Resource. The Nation, 28 Dec 1985 / 4 Jan 1986; *Habermas J.* Communication and the Evolution of Society. Hienemann, 1979; *Giddens A.* Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, 1991; *Косолапов Н. А.* Идеология и международные отношения на рубеже тысячелетий // *Богатыров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталева М. А.* Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М., 2002; *Маслова Е. А.* Эволюция представлений об идеологии в политической теории. // *Международные отношения. Политология. Регионоведение. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского.* 2011. № 6 (1). С. 315—319; *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1994.

интересы, выдаваемые за интересы всего общества<sup>1</sup>.

Согласно Карлу Мангейму, идеология также представляет собой искаженный образ социальной действительности, выражающий групповые интересы — это «гигантская социальная макрогипотеза»<sup>2</sup>. При этом главная функция «идеологии», по Карлу Мангейму, — консервация, сохранение существующего порядка вещей. Прямая противоположность идеологии — «утопия», то есть система суждений, объясняющая необходимость смены этого порядка. Революционная утопия превращается в охранительную идеологию, как только такая смена действительно происходит.

Ханна Арендт рассматривала идеологию как прежде всего политическое орудие «тоталитарных режимов», претендующее на обладание «ключом к пониманию истории»<sup>3</sup>. Примерно в том же духе высказывался и Карл Поппер, критиковавший исторический взгляд на общество как «историцизм» с преувеличенными эпистемологическими притязаниями<sup>4</sup>.

Традиция «критики идеологии» XX в. в лице Ролана Барта, Мишеля Фуко и других ставит задачу исследовать идеологию в чисто функцио-

---

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице его различных пророков // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения. В 9 т. Т. 2. М., 1985

<sup>2</sup> См.: Мангейм К. Идеология и утопия. М., 1990.

<sup>3</sup> Arendt H. The Origins of Totalitarianism. San-Diego, 1999.

<sup>4</sup> См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. М., 1992.

нальном аспекте, «говорить об идеологии без идеологии». Избежать идеологической нагруженности высказываний при этом, конечно, не удастся. Согласно Ролану Барту, идеология — это «вторичная семиотическая система», метаязыковой миф, паразитирующий на законах естественного языка и присваивающий его, определенным образом организованная коннотативная сфера высказывания, порождающая особого рода подтексты, «непрямые значения» и подвергающая их социализации (по сути та же самая опосредованность высказывания интересами социальных групп, что и у Маркса)<sup>1</sup>.

Мишель Фуко говорил о расщеплении любого знания на восприятие предмета, лежащего за границами дискурса, и оплотненный образ этого же предмета, конструируемый средствами описывающего его дискурса<sup>2</sup>. Промежуточную сферу между дискурсивным и недискурсивным (точнее инодискурсивным) планами восприятия как раз и заполняет идеология.

\*\*\*

Сегодня многие проблемы изучения идеологического пространства вызваны тем, что смысл самого понятия «идеология» трактуется непозволительно широко — вплоть до «корпоративной идеологии фирмы Apple». Но когда ставится вопрос о социальной и социализирующей роли идеологий, это понятие нередко политизируется и рассматривается в том или ином произвольно выбранном историче-

---

<sup>1</sup> См.: *Барт Р.* Мифологии. М., 2007.

<sup>2</sup> См.: *Фуко М.* Археология знания. СПб., 2004.



ском контексте, что вступает в противоречие с потребностями научно-теоретического рассмотрения и анализа. Поэтому одна из важных задач ближайшего времени — разграничение проблем идеологического генезиса (и связанных с ним процессов общекультурной динамики) и сиюминутных партийно-политических позиций, отделение одного от другого. Такова одна из актуальных тенденций в сфере идеологического.

Вторая тенденция в сфере идеологии — это самоопровержение возникшего в годы холодной войны стереотипа, согласно которому идеология якобы всегда декларативна, монолитна и внутренне согласованна, что она всегда опредмечена в рамках того или иного «катехизиса» — например, в рамках доктрины научного коммунизма, расовой теории или теории «открытого общества». Этот стереотип показал свою несостоятельность. Сегодня вполне очевидно, что концепции, построенные на таком допущении, принимают в качестве законов идеологии свойства ее конкретного типа, выдают частное за общее.

Между манифестацией и формированием идеологии, как выяснилось, нет линейной зависимости. Идеологогенез многолик и вариативен. Как вариативны и формы легитимации идеологий, отнюдь не сводимые к рационально-логической верификации. Суггестивные возможности идеологии в информационном обществе соотносятся прежде всего не с категориями истинности-ложности (научной или квазинаучной, как в эпоху СССР, или теологической, как в эпоху средневековой схоластики), а с категориями авторитетности-маргинальности. Отсюда, в частности, происходят такие понятия, как «новая

нормальность» и инструменты воздействия на общественное мнение вроде «окна Овертона». В качестве примера можно привести историю с фейковым докладом о пытках в тюрьмах Сирии, опубликованным в 2014 г. газетой «Гардиан». Авторитетность «Гардиан», накопленная по контрасту с куда менее солидными и уважаемыми изданиями, как раз и стала тем ресурсом, который позволил на время придать «вес» очевидной фальсификации.

Таким образом, авторитет и маргиналитет в поле идеологии конституируются посредством информационных ресурсов при условии контроля над производством информации. Это означает, что любой статус становится продолжением властных практик, реализуемых с помощью символических структур.

Третья тенденция связана с тем, что уровень рационально-критической проработки идеологий снижается, открытая и явная мифичность в составе современных идеологий растет, в соответствии с чем меняется и их язык. Объяснительная функция идеологии уступает место формированию некритичного, «неомагического» сознания, склонного к наивному восприятию политических идей и проектов.

Так, например, в рамках одного и того же идеологического дискурса можно различить субдискурсы для разных целевых групп с разной мифологической семантикой (например: неоязыческой для «низов», квазипротестантской для миддл-класса, гностической для элиты). Все они функционируют на разных орбитах идеологического дискурса, создавая различные типы ложного сознания. Аксиомы такого сознания, несмотря на их сциентистскую стилистику, связаны с глубинными уровнями культурной

семантики. Например, критика давно отживших режимов и социальных моделей, которые якобы могут вернуться (угроза политического «реванша»), восходит к мифосюжету о «пробуждающемся Ктулху». Алармизм, связанный с реальной террористической угрозой (мотив демонического «врага рода») нередко оправдывает отступление от норм демократии и чрезвычайные методы управления.

\*\*\*

Идеологичность, как и связанная с ней мифологичность, остается важнейшим принципом организации общества. Любая мировоззренческая позиция неизбежно попадает в поле той или иной идеологии. Умалчивание об этом — мнимое положение «над схваткой», которой соответствует фигура умолчания — в сущности, делает подобную позицию метаидеологичной, поскольку она претендует на понимание того, что является идеологией, а что — нет. Так, например, принцип светскости государства, будучи вполне идеологическим (ведь светскость — это идеология), получает статус «не-идеологии» и определяет мировоззренческие стандарты государства, парадоксальным образом соседствуя с принципом недопустимости «общеобязательной государственной идеологии». Это типичный пример легитимации без верификации в сфере идеологии.

Собственно говоря, задача любого идеолога как раз и состоит в том, чтобы прямо или косвенно представить свою позицию как «рациональную», «естественную», «позицию здравого смысла», а не как идеологическую. И наоборот, позицию противника

представить как идеологическую, узкую и доктринерскую.

Пространство современной культуры панидеологично. У нас нет выбора: жить с идеологией или без нее. Есть другой выбор: та идеология или эта, одна или другая. И еще: можем ли мы от-refлексировать свою позицию, понять, внутри какой идеологии в данный момент функционирует наше мышление, на каком идеологическом языке мы говорим, чей набор символов провозглашаем.

При этом возникает естественная проблема: как предотвратить радикализацию и тотализацию идеологических конструктов. Как защитить от них простое, «бытовое», «родное», традиционное, непосредственное, то есть коллективный культурный опыт, воспринимаемый в его целостности, подлинности, исторической устойчивости. Как, например, защитить от конструктивистской агрессии аутентичное, спонтанное, эссенциалистское восприятие культуры. Как объяснить на уровне идеологии, что ценности, идеалы и их преемственность обладают куда большим историческим ресурсом, нежели сборка-разборка бесконечных культурных проектов.

Разумеется, идеологии могут подвергаться систематизации и классификации.

**Институциональные**, то есть устоявшиеся и принимаемые социальным большинством идеологии не являются доктринально завершенными, но способствуют трансляции от поколения к поколению ценностей и идеалов, культурно-исторического архива общества (например, православной этики и духа солидарности — для русской культуры).

От институциональных отличаются **неинституциональные**, узкогрупповые (они же элитаристские) идеологии, которые отражают в первую очередь интересы отдельных социальных групп, борющихся за привилегии и господство с другими такими же группами или противопоставляющих себя обществу — социальному большинству. В связи с этим говорят об идеологиях социальных меньшинств (например, олигархии, «креативного класса», бюрократии и т. п.).

Для таких идеологий характерна **ложная институализация** (восприятие узкогрупповых ценностей, идеалов и интересов как общих или привилегированных), а для формируемого с их помощью ложного сознания характерны признаки разных видов отчуждения, социального недоверия, склонности к сегрегации и мифам превосходства (например: «активная часть общества делает свой выбор» вопреки интересам «маргинального большинства», «быдла» и т. д.).

Одним из признаков неинституциональности идеологии является ложная социальная самооценка ее носителя. Например, он старается вести себя как представитель среднего класса или элиты, хотя уровень его доходов и потребления не соответствует критериям принадлежности к этим социальным слоям и стратам.

\*\*\*

Институциональная идеология — причем институциональность во избежание влияния частных интересов определяется исходя из культурно-исторических оснований — представляет собой проек-

цию национальной традиции на нужды и вызовы сегодняшнего дня. Можно также сказать, что институциональная идеология — это самописание национальной идентичности, ответ на вопрос: «Кто мы, что делаем на Земле и куда идем?», но ответ не абстрактный, а даваемый в контексте сегодняшних условий и обстоятельств, в рамках исторического «здесь и сейчас».

В известном стихотворении 1986 г. Александр Галич писал:

Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,  
Не бойтесь мора и глада,  
А бойтесь единственно только того,  
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»  
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,  
Я вас научу, как надо!»

Именно в такой логике строится неинституциональный — узкогрупповой, элитарный, политизированный — взгляд на идеологию. Но институциональная идеология отвечает не на вопрос «как надо?», а на вопрос «зачем?». После этого проблема «как надо?» решается по взаимному согласию, а не волевым усилием партийных вождей или финансово-олигархических групп.

Любая идеология неизбежно актуализирует набор оппозиций, формирующих пространство социального универсума: «добро — зло», «свой — чужой», «чистое — нечистое», образ героя и образ врага, образ истории и мировой культуры, образ человечества и его проблем, наконец, собственный словарь. При этом именно институциональная идеология осуществляет рациональное использование данных оппозиций — культур-

**ных операторов** — в перспективе общего национального будущего. Это создает и поддерживает в обществе **культурогенез и культурную динамику** — главные условия ориентации данного общества в потоке исторического времени, условия его самоопределения и осознания собственной идентичности. Неинституциональные идеологические модели, если они выдают себя за институциональные, поддерживать данный процесс не способны, поскольку не отражают национального мировоззрения, базовых общественных принципов и убеждений.

Институциональных идеологий в нормальной, не кризисной ситуации может и должно быть несколько. При этом они не должны подменяться господствующей идеологией-гегемоном вроде советского исторического материализма или современного нелиберализма. В то же время, не имеет реальных оснований и **идеофобия** — боязнь идеологической проблематики, недоверие к ней, в связи с чем рамки самого понятия «идеология» нередко зауживаются, а сам термин политизируется. Впрочем, эта боязнь, кажется, уже уходит в прошлое.

Институциональная идеология представляет собой не некую мировоззренческую полностью завершенную концепцию «под ключ», а определение общих базовых идеалов, целей и задач. Собственно говоря, это условие любой человеческой деятельности, как индивидуальной, так и коллективной. Определяются прежде всего безусловные моральные и цивилизационные табу. При этом проводятся границы идеологического дискуссионного поля: есть

вещи обсуждаемые и есть действующий моральный ценз. Например, нельзя всерьез дискутировать с нацистами, но можно и нужно обсуждать тему неонацизма.

Участвуя сегодня в мнимой «дискуссии» с узурпаторами идеологического пространства, мы лишь поддерживаем господствующую ныне идеологию — неолиберализм — и неправомерно изымаем из условий общественной дискуссии необходимое требование моральной чистоты.

Идеологический диктат меньшинства над большинством недопустим. С признания этого факта должен начинаться любой разговор об общественных ценностях и любая публичная дискуссия.

Вполне очевидно, что любая институциональная идеология не призывает встать на чью-то политическую платформу и отринуть все остальные. В то же время есть границы допустимого в общественной дискуссии. Они не могут быть слишком узкими, но не могут быть и слишком широкими. Признак успешной институциональной идеологии — умение верно определить эти границы, исходя из потребностей и традиционных ценностей общества, создать поле общественной мысли, площадку, а не вывести некую доктрину.

\*\*\*

Вопросы о возможном облике идеологии ближайшего будущего имеют особенно важное значение. Еще недавно эти вопросы принято было относить едва ли не к области футурологии. А сегодня их уже невозможно игнорировать: если общество не ставит эти вопросы перед собой, оно рискует оказаться на



обочине истории. И дело здесь не только в выводах экспертов. Интуитивно эту ситуацию ощущает и обыватель. Он дезориентирован, не может разобраться в противоречивых потоках информации и сказать, что ждет мир хотя бы через неделю. Все это признаки существующего в настоящее время идеологического вакуума. Его существованием мы обязаны переходному состоянию социума, при котором старая идеология уже неэффективна, а новая еще не появилась.

Неэффективность идеологии связана с нарастающей архаизацией социальных систем. Ее признаки — штабная экономика, методы информационного контроля над обществом, утрата научно-критических ориентиров массовым сознанием, легализация и рост неонацизма. Сегодня кратократические подходы все сильнее входят в противоречие с господствующими идеологическими концептами.

Эта ситуация мировоззренческого хаоса уже имела место в России на закате советской эпохи, теперь же она повторяется в мировом масштабе. И нам предстоит пережить еще одну, на этот раз мировую «перестройку», которая будет включать в себя трансформацию идеологического пространства и его господствующих трендов.

Замена экономики глобальной зависимости и ссудного процента другой, более человечной и демократичной моделью, неизбежно приведет к появлению идеологических направлений, обслуживающих новую социально-экономическую реальность. Для такой модели потребуются идеологии, тяготеющие одновременно к социальному государ-

ству, традиционализму и усилению государственной «вертикали». Этот тренд уже получил ряд названий, таких как «новый этатизм», «социал-традиционализм», «левый консерватизм», «консервативный социализм». И данная тенденция будет противостоять набирающему силу ультраправому тренду, который является генетическим преемником неолиберализма. Остается надеяться, что духовная репатриация современного общества все же окажется возможной.

**И Т О Г И**  
**XX ВЕКА**



## История как общественный договор

**С**поры о переписывании истории и единых учебниках будоражат общественность. Говорить на эту тему всегда несколько неловко, но и молчать невозможно. Завеса умолчаний становится только гуще, скрывая за собой ряд простых и очевидных вещей.

Главный вопрос: что такое история для обывателя, как с ней обходиться, как себя с ней вести. Оговорюсь сразу: создать железные правила обращения с историей просто невозможно, поскольку из всех гуманитарных наук как раз история и еще философия — самые «проблемные». Причем проблема лежит в самих основаниях этих дисциплин.

Историю чего именно мы изучаем? Какое именно прошлое? Ведь не может быть «истории всего», даже в отдельные исторические периоды. Одно дело история династий, другое — народных движений и революций, третье — экономических формаций, четвертое — правовых систем. Это четыре совершенно разные «истории». Их нельзя соединить в единый свод. И если в физике есть «единая физическая картина мира», то единой исторической картины нет и быть не может. Таким образом, говорить

о единстве предмета исторической науки довольно сложно.

Возникнут проблемы и с верификацией — проверяемостью знаний. Дело в том, что до сих пор никому еще не удавалось выделить в истории «всеобщие закономерности». Хотя марксизм потратил много сил, чтобы их отыскать, а либерализм до сих пор старается навязать эти закономерности в виде неких «цивилизационных» критериев.

О прогностических возможностях историков даже и говорить неловко: кое-что, правда, поддается прогнозу, но лишь в предельно общих масштабах и далеко не всегда.

Тем не менее, история используется для того, чтобы объяснить человеку его место в этом мире. Это один из самых простых и испытанных способов, и менять его на другой никто не собирается. Именно поэтому история — одна из самых мифологизированных дисциплин. Ведь, как известно, летописи и исторические хроники переписывались заново при каждом князе — в угоду моменту. Увы, хотим мы этого или нет, но выражение «История — это политика, опрокинутая в прошлое» абсолютно справедливо.

Сделать историю политически и идеологически стерильной невозможно, следовательно, не надо разбивать лоб о невыполнимую задачу. Как известно, учебники, написанные по принципу «факты и только факты», проигрывают своим идеологизированным собратьям. Страдает системность изложения: запомнить материал, изложенный таким способом, почти невозможно.

А вот что действительно можно и нужно сделать, так это расставить приоритеты. То есть деконстру-

ировать те исторические мифы, которые мешают национальной идентичности, вредят национальным задачам.

Первый и главный миф, от которого стоит избавиться: будто бы в «цивилизованном мире» озабочены построением этой самой объективной истории, а мы хотим словчить и выбрать себе удобную. Чуть и глупость. Никто и нигде в мире ничем подобным не озабочен.

Например, понятие «нормализация истории» в Германии стараниями историка Эрнста Нольте используется давным-давно. Это делается для того, чтобы освободить национальное сознание немцев от травмирующего фактора Второй мировой войны — как от горечи поражения в ней, так и клейма нацизма. Понятие «переписывать историю» на Западе существует давно, но применяется только к оппонентам. Давайте примем во внимание этот *modus operandi* и осуществим несколько необходимых шагов.

Проведем ревизию национальной истории и посмотрим, в чем ее позитивный смысл и поступательное движение; исходные условия, цели и задачи.

Скажем честно, что история — это общественный договор, но не по поводу настоящего, а по поводу и прошлого, и настоящего, и будущего. Нам необходимо добиться общественного консенсуса по поводу собственной истории, а не мучиться вечными вопросами и неразрешимыми дилеммами.

Чтобы сформировать образ национальной истории, надо соединить в коллективном сознании разрывы национальной традиции. То есть собрать то, что уцелело, примирить враждующие идеологиче-

ские группы, разделенные негативом исторических конфликтов. Перед лицом реальных вызовов недопустимо выяснять отношения между бывшими «белыми» и бывшими «красными».

У национальной истории должен быть четко определенный субъект. Этот субъект — народ, нация. Это приоритет.

Чтобы история народа-нации существовала прочно и долго, мы должны договориться о нашей идентичности. Поскольку история народа — это история людей, связанных общей идентичностью. С этого положения должен начинаться и этим заканчиваться любой учебник истории.

Идентичность определяется на основе «квадрата идентичности». Например: «русские = русское православие + русский язык + русская культура + общие исторические цели, знаковые события и фигуры». Разумеется, в многонациональной стране национальное не может быть сужено до этнического. Мы прекрасно понимаем, что Шойгу и Кадыров, какие бы у них ни были этнические корни, являются русскими и защищают именно русские интересы.

Важно определить роль нации в конфликтах. Например, четко настаивать на том, что в 1941 г. СССР был жертвой, а германский альянс (не только Германия, но и венгры-румыны-итальянцы-финны-норвежцы-японцы и др.) — агрессором. И, скажем так, у нас остались кое-какие претензии. Цифры ущерба хорошо бы обновить и опубликовать.

Мы не сможем привести в порядок свою историю, если не отречемся от явно антинациональных действий части российских элит. Например, нам



необходимо признать: Беловежский сговор 1991 г. был национальным предательством и циничным попранием результатов референдума 1990 г., поэтому он юридически ничтожен. А сохранение советских границ с Украиной при уходе Украины из-под советской юрисдикции было актом аннексии русских территорий.

Сегодня самые политизированные исторические темы — это разделенный русский народ, нацизм и неонацизм, роль церкви в истории страны, итоги и причины войны 1941—1945 гг., советский период, в котором не хотят толком разбираться ни противники, ни сторонники СССР, и, разумеется, период 1990-х и «нулевых». Эти темы надо учесть в первую очередь в ходе анализа отечественной истории и при написании учебников.

Придется ответить и на вопрос, не принижают ли роль России на Западе. Принижают — именно потому, что эта роль потенциально высока. Причем на примере украинских событий мы лишний раз убедились: в мире есть лишь один самостоятельный игрок — США. Континентальная Европа не является самостоятельным политическим субъектом. У нее нет своей политики.

Это политический момент. Есть и идеологический. Россию недолюбливают политические элиты, потому что в России и отчасти в Восточной Европе не было периода Возрождения и Реформации. Это определило социокультурные различия. То есть средневековая культура не превратилась до конца в секулярный рационализм и институционализм. Элементы средневековой сакральности удалось даже внедрить в проект советского модерна. Эта

наша особенность пугает европейцев как всякая альтернатива. Одно дело «чужие» монголы или китайцы, другое дело — вроде те же европейцы, но иные, альтернативные. Это очень некомфортное чувство для европейцев — чувство расколотости своего коллективного «Я».

Да, феномен России болезненно сказывается на евроидентичности, давит на подсознание. Особенно мучительно это ощущение сейчас, когда Европа уже готова расстаться со своей христианской идентичностью, а Россия остается христианской и служит западным европейцам напоминанием о самих себе — настоящих. К тому же при таком раскладе Россия — если выживет, конечно — может стать единственным наследником подлинного европеизма. Западным европейцам это неприятно, и их вполне можно понять. Но это их проблемы, а не наши. Наше дело — исходить не из того, что мы «хотим в Европу» или «мы тоже Европа», а из того что «мы-то и есть Европа».

Разумеется, не всех устраивает такой исторический сценарий. При этом надо понимать: главная борьба за историю разворачивается все-таки не в учебниках, а в реальном мире. Уничтожение России путем распространения исторической неправды — естественное желание конкурентов. К сожалению, такой развал выгоден не только внешним противникам, но и тем внутрироссийским игрокам, кто хотел бы поживиться, распилив российское наследство точно так же, как распилили советское наследство в 1990-е.

Тут все просто. Если государство не платит интеллектуалам за национальные проекты, другие

центры силы (внешние) будут платить за антинациональные. Конкуренцию в политике никто не отменял. Это не теория заговора, а всего лишь теория конкуренции. Конечно, одна из первых задач антироссийских сил — разрушить исторический консенсус и чувство русской идентичности. Без этого нация перестает быть нацией, а общество разваливается на глазах.

Должны ли мы сопротивляться этой тенденции и каким образом?

Да, разумеется. Мы должны договориться о базисных вопросах. И одновременно лишить статуса либеральную пропаганду. Ясно одно: не освободив «территорию истории» и пространство идеологии от сорняков, на ней невозможно ничего вырастить.

Не стоит вести бесплодный и бесконечный спор о том, где причины наших проблем: внутри или вовне страны. Это ложная альтернатива. Эти причины и там и там, они взаимосвязаны.

Подводя итог, скажем, что историк должен представить картину, из которой будет следовать единство традиции, идентичности, национальных целей и задач. Следует навсегда забыть такие выражение как «суд истории» и «коллективная вина». Это политическая риторика куда более низкого уровня, чем та, которая потребна историку. В истории есть ошибки и спорные решения, надо искать их причины и отвечать на вопросы «можно ли было их избежать» и «почему не удалось этого сделать». Никакие ошибки никогда не перевешивают национальные цели и национальные задачи.

Имеет ли право историк на свою интерпретацию событий? Ну, разумеется. Хотя бы потому, что точ-

ка зрения любого историка — это уже интерпретация. Ведь «объективной» истории не бывает. Так что это право одновременно и неизбежность. Но любой историк должен осознавать важность своей профессии, которая в этом смысле подобна профессии врача и учителя. Осознавать — и согласовывать свою деятельность с принципом общественного блага.

Но, конечно, поскольку истории вне идеологии быть не может, историку необходимо помочь — отменить нелепый конституционный запрет на «идеологию», а точнее, на национальные принципы и ценности. Если народ не сформулирует свою идеологию, он либо вынужденно примет чужую, либо будет жить по принципу «войны всех против всех».

И последнее. Крайне вреден для работы с национальной историей абсурдный тезис о «поисках национальной идеи». Поиски национальной идеи — глупость. Национальных идей много: это писанные и неписанные правила, по которым живет общество, но они выводимы из более общих понятий. Внятным должен быть образ традиции (внешний план) и идентичности (внутренний план, субъективное переживание принадлежности к традиции), а также национальные цели и задачи. Все национальные идеи выводимы из этих понятий.

Главное, нужно помнить, что наука история, как и философия, должна не только объяснять, но и менять мир.

## Смысл революции

**Ц**елый ряд признаков указывает на то, что мы находимся в самом начале, в точке отсчета мировой перестройки — процесса смены мировоззренческой парадигмы. Что мы имеем на мировом уровне? Углубление кризиса и начало демонтажа прежней системы отношений. Возможно, что от идеологии статусного потребления и неолиберальной глобализации мир начнет двигаться в сторону новой модели. Такой, которая сочетала бы в себе более справедливую социальную политику, поддержанную духом традиционных ценностей.

У России есть шанс выйти из того сумеречного состояния, в котором она находится много лет. Это, хотим мы этого или нет, вскроет глубинные пласты национальной памяти. И здесь наша задача — выработать взвешенный и конструктивный подход к собственной истории, который бы не разделил, а собрал и мобилизовал нацию.

Например, очевидно, что события, начавшиеся с Февраля 1917 г., — это национальная трагедия. Но она никому не дает права требовать от общества принятия доктрины «коллективной вины», «коллективного покаяния», отказа от идеала социальной справедливости и принятия каких-то политических императивов.

Анализируя смысл революций 1917 г., важно соблюдать три условия.

Первое. Пришло время посмотреть на XX в. с возрастающей временной дистанции и с учетом диалектики истории. Важна не только оценка действий и решений, но процессы формирования самосознания народа, которые шли и идут под влиянием событий XX в. Это главный предмет разговора.

Второе. События 1917–1990-х гг. следует рассматривать в контексте «большой» русско-европейской истории XX в., временная ось которой располагается между 1914-м и 2014-м гг., то есть в контексте мировых социально-расовых войн.

Третье условие. Только общество в целом, а не отдельные группы и «клубы» по политическим интересам, имеет право принимать легитимные общезначимые решения в рамках данной темы. Это, конечно, не исключает любых субъективно-личных взглядов на историю и свободы мнений по вопросам, связанным с темой XX в.

Теперь зададим вопрос: что такое 1917 г.?

События 1917-го привели вначале к национальному предательству элит и верхушечному перевороту, а затем к гражданскому расколу и войне внутри общества, распавшегося на «красных» и «белых». Но мы не можем забывать о том, что и с той и с другой стороны были представители части народа и война была братоубийственной с обеих сторон. Фактически мы имели в 1917 г. аналог русской Смуты 1605–1612 гг., когда разные лагеря боролись друг с другом, а дело закончилось иностранной интервенцией. Но в 1917 г. Смута не была вовремя остановлена общенародным консенсусом, как это

удалось сделать во времена Минина и Пожарского. Успешная, но трагическая война 1941–1945 гг. лишь частично, но не до конца выполнила эту роль.

Новым этапом смуты стали события 1991 г. и распад СССР, в особенности его русско-славянско-го ядра. Поэтому, хотя 1991 г. идеологически противопоставляется 1917-му, объективно он является его продолжением.

Любая идеология становится «правильной» или «неправильной» в контексте определенных исторических обстоятельств. «Неправильность» чаще всего означает антисистемность, деструктивность. Советская модель была демонтирована именно в тот момент, когда возникла вероятность ее очищения от большевистского нигилизма и коммунистического догматизма, вероятность перезаключения союзного договора на новых идеологических принципах. Демонтаж страны осуществили представители коммунистической элиты, быстро сменившие политическую окраску — в ущерб народу, но в своих собственных интересах. Это позволило им переписать на себя и своих покровителей общенациональную собственность.

Иными словами, в 1991 г. имело место такое же предательство элит, как и в Феврале 1917-го, когда дворянская верхушка предала монарха и народ и объективно расчистила дорогу большевизму.

Большевики победили во многом потому, что сделали то, чего не смог или побоялся сделать царь — они опирались непосредственно на народ. На те самые 85 %, о которых так много сегодня говорят. И убийство Николая Второго с его семьей, каким бы преступным оно ни было, все же было убийством

скорее конкурента, нежели классового врага, что бы там ни писала большевистская пресса.

Если отбросить идеологические догмы, становится понятно, что у событий февраля 1917-го и августа 1991-го, несмотря на показательную, но малоубедительную смену флага, одна и та же внутренняя подоплека. Она связана с антинациональной политикой, корыстными интересами элит и не имеет ничего общего с социальной справедливостью.

Главный итог событий гражданской войны XX в. — двойной разрыв национальной традиции. Разрыв семнадцатого года и разрыв девяносто первого осуществлялись людьми одного и того же склада, причем второй был прямым продолжением первого, и многолетние попытки идеологов и пропагандистов скрыть эту связь только ярче ее подчеркивают.

К сожалению, вероятность предательства элит существует в России и сегодня. Она растет по мере углубления мирового кризиса и расшатывания российской экономики. Верх в этой ситуации возьмет тот, кто сможет опереться на народ, на те самые 85 % Крымского консенсуса.

Сегодня мы можем с удовлетворением констатировать, что русская гражданская война, продолжавшаяся в сфере идеологии на протяжении советского и постсоветского периодов, в 2014 г. завершилась. Завершилась она национальным примирением. Это произошло потому, что народу был брошен исторический вызов, на который пришлось ответить всем вместе. Принцип партийности уступил принципу солидарности. Основой примирения послужил Крымский консенсус.



Освобождение Крыма, русское национальное и антифашистское интернациональное движения на Украине, сопротивление России политическому и экономическому давлению извне — все это создало закономерную ситуацию, когда бывшие «белые» и бывшие «красные» оказались перед лицом общего врага и встретили его плечом к плечу. Именно так, на пути общих испытаний, заканчиваются гражданские войны. Сегодня мы понимаем, что, несмотря на прежний исторический разрыв, у нас одна традиция и одни ценности. И как минувший разрыв был историческим поражением для обеих сторон, так сейчас мы можем говорить об общей победе. Крымский консенсус — это шаг в верном направлении, шаг необходимый, но, к сожалению, недостаточный. Чтобы не потерять первоначальный импульс, необходимо его продолжение.

Все это, разумеется, не отменяет ответственности конкретных лиц за конкретные деяния, совершенные в советское время, — в частности, за неправосудные политические приговоры и классовые чистки. Но это именно личная, а не коллективная ответственность. И она не накладывает на наших современников никаких дополнительных исторических обязательств. Мы осуждаем конкретных виновников, но мы не осуждаем ту или иную сторону конфликта. Главный вопрос: что делать дальше?

Важно признать, что принцип личной, а не коллективной ответственности есть залог прочности в деле национального примирения и преодоления разрывов национальной традиции.

Если говорить об исторических последствиях событий XX в., то первое, что необходимо учесть, —

это неправомерность выделения «малой истории России» (1917–1991) из контекста «большой истории» (1914–2014) как нашей страны, так и всего мира.

Нет и не может быть никаких «априорных» ответов на трудные вопросы. Такие ответы действительны только в рамках общенационального консенсуса. Тем не менее, можно высказать некоторые соображения, которые не дают готовых ответов, но служат поводом для размышлений в рамках общественной дискуссии.

Необходимо объективное исследование исторического периода с 1914-го по 2017 г., его истоков и предпосылок с учетом как мирового контекста XX в., так и современности. Нуждается в серьезном переосмыслении идеология Февраля 1917 г., носители которой разрушили государство, объективно открыв дорогу большевизму. Февраль и Октябрь 1917 г. необходимо рассматривать как два этапа одного исторического явления.

Нельзя исключать события, происходившие в XX в. в России, из общемирового контекста, как нельзя и рассматривать их отдельно от современных исторических вызовов. В частности, надо учитывать, что коммунизм XX в. имеет не российское происхождение, он связан с идеологией радикального модерна и антидемократической идеей неограниченных социальных экспериментов, характерных для либерального мировоззрения.

Необходимо избавить общество от мифа «коллективной вины» и исторического алармизма, которые нередко используются, чтобы заставить людей от-

речься от идеи социального государства и от плодов Победы 1945 г. Автор идеи социального государства не Сталин, а этническая война 1941—1945 гг. была развязана не против «коммунистического режима», а против русских и дружественных нам народов, причем эта война получила продолжение в 2014 г. на Украине.

XX в. отмечен этническими чистками и военным террором в отношении ряда наций, включая русскую, которые сопровождали как Первую, так и Вторую мировые войны. Все это привело к страданиям людей, многочисленным жертвам, к исходу или изгнанию соотечественников за пределы Родины, а также к искусственному разделению единого русского народа и искусственной дерусификации православного населения.

Необходимо признать русских и дружественные им народы жертвами не только революционной (гражданской), но также этнической и социально-расовой войн. Необходима юридическая оценка геноцида русского народа и дружественных ему народов в XX и в XXI вв.

Если идеологию классовой ненависти к концу столетия удалось преодолеть, то идеология расизма получила продолжение и развитие в XXI в., как в старых, так и в новых формах. Идеи коммунизма и классовой войны сегодня уже не представляют непосредственной опасности, поскольку они не определяют идеологический мейнстрим и интеллектуальную атмосферу нашего времени. Тогда как идеи неонацизма, культурного и цивилизационного превосходства, социал-расима до сих пор считаются приемлемыми и официально одобряются некоторы-

ми политическими элитами. С этим положением мы не вправе мириться и обязаны ему противостоять.

Национальная история должна быть не яблоком раздора, а одной из основ гражданского консенсуса. Идеология этого консенсуса складывается в настоящее время, ее присутствие ощущается в общественной атмосфере. Необходимо ее окончательно сформулировать.

## Магия чисел. 1917—2017

**М**агия чисел заставляет историков и публицистов сопоставлять 1917 г. с годом 2017-м. Находят немало общего и предостерегают от печальных последствий. Действительно, в современной политической ситуации много совпадений с событиями вековой давности: международная нестабильность, русофобская истерика зарубежных СМИ, нерешенные социальные проблемы, похожие «оранжевые» технологии, из которых самая заметная — оплата западным капиталом уличных беспорядков.

Попробуем составить небольшую сравнительную таблицу.

1917	2017
Главными являлись вопросы о социальной справедливости, о земле и о завершении войны. Их нерешенность спровоцировала серию переворотов под внешним влиянием.	Главными являются вопросы социальной справедливости, единой идентичности, единой идеологии, противодействия попыткам дестабилизации общества.

1917	2017
<p>Россия с 1914 г. находится в состоянии войны, которая ведется официально. Экономика, финансы и логистика страны несовершенны и не до конца справляются с потребностями фронта.</p>	<p>Россия с 2014 г. находится в состоянии гибридной войны (санкции, дипломатическое давление, конфликты по периметру границ, терроризм)</p>
<p>Россию и Германию стремятся посорить, хотя многие их интересы объективно совпадают.</p>	<p>Россию и Германию стремятся посорить, хотя многие их интересы объективно совпадают.</p>
<p>Россию стремятся вытеснить из Средиземноморского региона (бывшие византийские владения). Проект «Междуморье».</p>	<p>Россию стремятся вытеснить из Средиземноморского и Черноморского регионов. Проект «Восточное партнерство».</p>
<p>Украина оккупирована немцами.</p>	<p>Украина — протекторат США.</p>
<p>Общественное мнение патриотично и настроено в пользу «войны до победного конца» (кроме большевиков).</p>	<p>Общественное мнение патриотично и настроено в пользу возвращения Крыма (кроме либералов).</p>

1917	2017
Актеры революции — часть крупного дворянства, часть буржуазии, либеральная интеллигенция.	Актеры возможной революции — часть олигархата, часть среднего класса, либеральная интеллигенция.
Монарх отказывается опираться на народ — основную часть своих подданных. В результате теряет власть и гибнет от рук большевиков.	Вопрос открыт. Если власть перестанет опираться на народ и защищать его социальные интересы и национальные традиционные чувства, то возникает риск потерять поддержку в массах.

Эту таблицу можно расширять и находить все новые и новые аналогии между 1917 и 2017 гг. Сходство, безусловно, существует. Но любая аналогия условна и приблизительна. В начале XX в. Россия пережила период декаданса, с которым нередко связывают ряд достижений в сфере изящных искусств («Серебряный век»). Но в общекультурном и духовном плане это было начало глубокого кризиса — и не российского, а мирового. XX в. это доказал, разродившись революциями, нацизмом как новой формой колониализма, двумя мировыми войнами, созданием и применением оружия массового поражения. Это был глубокий социальный и нравственный надлом, причиной которого стало выпадение Запада и России из христианской парадигмы развития. Это был апофеоз модерна, который стал началом его саморазрушения. Все жили в ожида-

нии того, когда усиливающийся экзистенциальный и нравственный вакуум разорвет социальные связи внутри государств, исказит их границы, сломает систему международных отношений.

Россия пострадала больше других. Она взяла на себя главный удар той болезни, которая возникла в европейской культуре еще в эпоху Просвещения. Каждый взорванный храм, каждый убитый священник и мирянин — это ожившие строчки из трудов философов того времени. Жрецы позитивизма, модернизма, социал-дарвинизма считали, что мир делится на избранных и всех прочих, что старый мир должен рухнуть и «в будущее возьмут не всех». Это перечеркивало христианские истины.

Колониализм — важнейшая часть культуры модерна, поскольку развитие (модернизация) идет за счет периферии, за счет колонизируемых. Коммунизм пытался вернуть равенство и справедливость, но поскольку коммунистическая теория сформировалась в рамках все того же модерна, ее увлекала страсть к социальным экспериментам, невзирая на жертвы, безбожие, атеизм. Коммунизм — это реакция на колониализм, который возник гораздо раньше. И вот смотрите: коммунизма давно нет, а колониализм и нацизм процветают.

Россия — часть восточно-христианского, византийского мира. Но ей суждено было стать жертвой чужой агонии — агонии модернизма. Поэтому в красном углу России был повешен «черный квадрат». Тем не менее, даже в советскую эпоху в России было два социализма. Внешне похожие, но очень разные по сути. Один — идущий сверху, от



«режима», имеющий западные, модернистские корни. И другой — идущий снизу, от народа, от русской традиции, в котором нет революционности, но есть справедливость, община и равенство людей перед Богом.

И потому, как сказал патриарх Кирилл, «несмотря на последовательное отрицание христианства... в советский период в том или ином виде сохранилась связь этических ориентиров и образа жизни с богооткровенными нравственными идеалами».

Вначале Запад смотрел на Россию и ликовал — в этом зрелище он видел победу своих идей и радовался, как ученый радуется управляемому эксперименту на безопасном для себя расстоянии. Отсутствие воли признать собственную роль в этом процессе привело Запад к желанию отделить себя от России. Увидев себя в зеркале России, европейцы поспешили сказать: «это не мы». И чтобы покончить со слишком искренней и неподдельной русской тягой к справедливому обществу, они вызвали духов нацизма.

Далее Советская Россия жертвует собой ради победы над нацизмом, освобождения Европы, своими силами возвращаясь к традиции.

*На фронт ушли коммунисты, а с фронта вернулись русские.*

Если в 1917 г. Россия пугала, сегодня она обретает способность привлекать — и тем вернее, чем она более самостоятельна. Сегодня Россия несет стремление к миру, традиции, открытости, а не к революции. Именно в этом наша сила.

Технологии оранжевых революций никуда не делись, но для них больше нет приводных нитей, за

которые можно было дергать в феврале 1917-го. Сегодня мы солидарны и доверяем друг другу. В том числе и в плане разумного и бережного отношения к прошлому

100-летие революции — это тема, которая касается не столько России, сколько культуры и идеологии современного Запада. Это вызов для него. Мы ожидаем не изменений в России, а изменений на Западе. Россия живет уже в XXI в., а Запад пока еще в начале 1980-х, среди химер «холодной войны». Запад прибегает к военной силе — устраивает гражданские войны и революции. Хотя сил для поддержания статуса мирового жандарма у него все меньше.

События 1917 г. именуются Великой Октябрьской социалистической революцией. Сокращенно — Октябрьской революцией. Это историческое самоназвание. В 2014—2015 гг. различные мозговые центры загодя продумывали тактику использования грядущего столетия в маневрах информационного противоборства с Россией. Среди прочего было предложено именовать случившееся «русской революцией», «российской революцией», «великой русской революцией». Это очень хорошо видно по западным публикациям тех лет. Была поставлена задача смещать акцент и внушать, что трагедия и гражданский раскол увязаны с чертами характера русского народа. Этот политехнологический трюк с переименованием революции переносил всю тяжесть вины за происшедшее на русское общество. Русский народ из жертвы тем самым превращался в виновного.

Так что лучше использовать утвердившееся историческое самоназвание.

Нас постоянно призывают осмыслить революцию. Но давайте скажем честно — мы все давно осмыслили. И наша цель — в гражданском примирении и консенсусе перед лицом новых общих вызовов. Как это было в 1941-м. Как это было в 2014-м.

## Нацизм

Слово «фашизм» сегодня звучит все чаще, и оснований для этого достаточно. При этом на поле публичной полемики нет методологически четкого подхода к явлению. Путаница вызвана множеством стереотипов вокруг темы фашизма. Людей зачастую просто вводят в заблуждение.

Мы видим тенденцию замалчивания ряда вопросов и тем, связанных с германским нацизмом. Скажем, в Европе обходится стороной тема негерманских истоков нацизма. Знаменитая книга Мануэля Саркисянца «Английские корни немецкого фашизма. От британской к австро-баварской расе господ» с огромным трудом преодолела заговор молчания. Как бы не замечают работы историков, исследующих нацизм как общеевропейское, а не только германское явление эпохи модерна и его прямую связь с общеевропейской практикой колониальных войн.

Для России более характерна мистификация явления. Фашизм подают как мировое зло, которое приходит по чьей-то субъективной злой воле и не имеет экономических предпосылок. Публицисты любят рассуждать о растущей «атмосфере нетерпимости». Такие страшилки заканчиваются моралью о вреде гражданских конфликтов. Но реальный фашизм в подобных нравочениях отсутствует.

На этом фоне наблюдается дробление термина «фашизм». Внимание отдается описанию авторитарных практик, характерных для любой тирании, не только фашистской. А также приемам пропаганды и политической демагогии, а ими тоже пользуется любой популист, не только «коричневой» окраски. Нередко при разговоре о Третьем рейхе на первый план выставляют его имперскую эстетику, например, связанную с Олимпиадой 1936 г., которая проходила в Германии. А расовая теория, холокост и план «Ост» по колонизации восточных территорий уходят из поля зрения.

Зачастую просматривается отношение к нацизму как некоему условному понятию. Слово используется как стикер, которым можно пометить любое нежелательное явление, наградить политического оппонента.

Параллельно с мистификацией, дроблением, условным толкованием понятия происходит оправдание и возрождение фашизма как явления. И если еще не так давно оправдание было более скрытым и подспудным, то теперь процесс перешел на галоп. События 2014 г. на Украине это доказали. Сегодня мы видим, что впервые после 1945 г. фашизм, по сути, легализован в сознании европейцев. Это есть историческое поражение современной модели миропорядка, апологеты которой декларируют толерантность.

Одним из самых распространенных был и остается миф о денацификации Германии и покаянии немецкой элиты. Но победа над Германией в 1945-м не означала, как оказалось, победы над фашизмом.

Бывшие нацисты служили в бундесвере, заседали в парламенте, занимали высокие государственные должности. Когда Германия официально одобрила «коричневый» переворот на Украине, видна абсурдность разговоров о денацификации. Надо открыто признать: правительство Ангелы Меркель в союзе с американскими политическими элитами проводит в международной политике курс на реставрацию нацизма в Восточной Европе и потому мало чем отличается от нацистского, хотя население самих Германии и США пока от этого не страдает.

На мой взгляд, любой разговор о фашизме и нацизме нужно начинать с двух исходных посылок.

Первая. Данная идеология основана на мифе исключительности, обосновании ранжирования «человеческого материала». Это ценностное априори фашизма. Оно может иметь разные формы. Ошибочна и кощунственна точка зрения, которая оставляет в концептуальном поле фашизма только одну его разновидность — национал-расизм, он же «нацизм», вынося за скобки культур-расизм, социал-расизм, идею цивилизационного или религиозного превосходства.

Второе. Надо ясно понимать, что цель нацизма — захват территории и ресурсов. Для оправдания этого создаются теории «превосходства», основанные, между прочим, на данных антропологии и положенные в основу евгеники. Фашизм — типичный продукт эпохи модерна, а не отступление от духа модерна. Корни фашизма уходят в практику колониализма, что также связано со спецификой Нового времени. В политическом плане Адольф

Гитлер не придумал ничего нового. Он лишь перенес методы, которые до него белые колонизаторы применяли на окраинах мира, в центр Европы и применил к славянам, евреям и цыганам. Только после поражения гитлеровской Германии эта практика была формально осуждена. Хотя раньше, когда дело касалось бушменов, конголезцев или китайцев, европейцы вообще ни о чем подобном не задумывались. Мечтая о колониях «от Вислы до Волги», Германия надеялась сделать поляков и русских европейскими рабами. И что? Кто-то это сильно осуждал? Нет. В агрессивном походе Гитлера участвовали более 20 стран, в основном европейских.

О связи фашизма и социальной системы позднего капитализма свидетельствует не только научный анализ, но и текущая политика. Однако в силу идеологического родства фашизма и либерального капитализма либеральные СМИ редко критикуют фашизм по существу, с учетом его идеологической и социально-экономической базы. Они склонны представлять фашистов как социальных маргиналов, распоясавшуюся шпану и обращать внимание на внешние признаки и символику.

Иммануил Валлерстайн писал о существовании «классово-этнической низшей страты» в мировой системе разделения труда и о том, что этнический фактор маскирует подлинные истоки социального неравенства. Впрочем, о нациях-буржуа и нациях-пролетариях писали в XX в. и марксисты. Сам термин «классово-этническая» говорит о том, что классовое и национальное угнетение — две стороны одного процесса.

Встречающиеся утверждения, что рассуждения о «бремени белого человека» и культур-шовинизме якобы нельзя сравнивать с расовыми теориями, лицемерны. Не просто можно сравнивать, но и необходимо. С моральной точки зрения разница иллюзорна. Ведь узнику фильтрационного лагеря и жертве зачистки все равно, во имя чего их ликвидируют: во имя расовой чистоты или во имя стандартов «передовой цивилизации».

Соблюдая интеллектуальную честность, необходимо признать, что нацизм и фашизм — это закономерное продолжение и поздняя форма колониального капитализма, поэтому у них не может быть правой альтернативы, только левая.

Такой ход мысли столь очевиден, что ни на Западе, ни в России он не опровергается, хотя всячески игнорируется. В академической среде, как правило, по идеологическим причинам, в обывательской — по психологическим. Во многом это связано с механизмом вытеснения нежелательных содержаний из коллективной памяти общества. Ведь фашизм — это особый, травматический опыт. Он изменил социальный характер западного человека («после Освенцима нельзя писать стихи»).

В 1940-е гг. западный обыватель неожиданно увидел себя в зеркале. И мог бы сказать то, что говорили советские вожди накануне перестройки: «Мы не знаем общества, в котором живем». Вот только перестройка европейского сознания до сих пор не началась, несмотря на клятвенные заверения в «денацификации».



Западноевропейское общество больно, и, судя по отношению к украинским событиям, больно очень тяжело. А признать это ему сложно. Ведь осознание данного факта таит в себе экзистенциальную угрозу идентичности модерна.

## Тоталитаризм

**XX** в. давно закончился, а ощущение конца эпохи все не проходит. Сегодня оно связано с застоем в сфере политических идей. Точнее, с набором ключевых политических понятий, которые задают смысловую атмосферу последних трех десятилетий.

\*\*\*

Парадигма новой политики, вступившая в силу после 1989 г., несмотря на крайнюю степень изношенности, все еще занимает господствующие высоты в мире. Она морально деградирует и структурно упрощается. Но даже самая пещерная идеология нуждается в моральных ориентирах. Концепция добра и зла присутствует во всякой политической доктрине, и та, о которой мы говорим, тоже имеет четкую систему этики. Система эта, впрочем, довольно старая. Она основана на концепции «двух тоталитаризмов» (шире — «закрытых обществ»), появившейся в работах философа и социолога Карла Поппера («Открытое общество и его враги»), философа Ханны Арендт («Истоки тоталитаризма»), политолога Збигнева Бжезинского и некоторых других авторов. Концепция родилась с началом холодной войны, но оказалась намного долговечнее политических блоков. Смысл ее прост: коммунисти-

ческие и фашистские режимы являются политически родственными и противостоят либеральным демократиям.

В системе нового мышления, о которой так много говорили в эру Горбачева и Рейгана по обе стороны ветшающего «железного занавеса», максима «тоталитаризма» занимала почетное место. Именно теория двух тоталитаризмов (или «двойного» тоталитаризма) служила тем мостиком, который был переброшен из политического вчера в политическое сегодня. Нынешняя политика силы как бы искупалась вчерашними жертвами. Тоталитаризм служил индульгенцией, выданной историей сторонникам нового глобального миропорядка.

Разумеется, с логической точки зрения эта позиция не выдерживает никакой критики, но психологически она очень действенна. Механизм воздействия на общественное сознание довольно прост: это постоянное напоминание об исторической травме. То есть апелляция не к рациональной, а к эмоциональной сфере. Без картины темного тоталитарного прошлого не вырисовывается картина светлого либерального будущего (ввиду слишком большого количества издержек в виде «междивизиционных» войн, смены режимов и проч.). Поэтому так необходим образ исторического врага.

\*\*\*

Со времен Карла Поппера и Ханны Арендт общий концептуальный каркас теории не изменился: речь по-прежнему идет о «плохих» тоталитаризмах, которые противостоят «хорошему» либерализму. Но со временем эта манихейская модель стала все чаще

попадать под огонь критики на Западе, а не только в СССР. Что неудивительно: ведь теория с самого своего рождения напоминала катехизис. Ее можно было или целиком принять, или целиком отвергнуть. Причем, как и в вульгарной версии коммунизма, в «двухтоталитарной» концепции была очень заметна эмоциональная составляющая (инфернальная символика, мотив абсолютного зла, категорическое «никогда больше»).

А это тревожный симптом.

Неудивительно, что уже в 1960-е появились политических концепции, которые шли вразрез с «двухтоталитарной» ортодоксией. Здесь в первую очередь надо сказать о представителях неомарксистской Франкфуртской школы. Старшие представители школы, Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер рассматривали, в частности, фашизм как побочный результат двух глубинных исторических процессов. С одной стороны, мы наблюдаем доминирование стандартов рациональности, навязанных Европе эпохой Просвещения. С другой стороны, наблюдаем встречный процесс — нацистский археомодерн, который представляет собой аффективную реакцию на эти стандарты иррациональных пластов европейской культуры.

Исследователи 1960-х описывали репрессивные механизмы всех трех идеологических модусов западного общества — нацистского, коммунистического и неолиберального — как взаимосвязанные.

Представитель второго поколения франкфуртцев, Герберт Маркузе, культовая фигура бунтующей молодежи 1960-х, гуру радикального студенчества, пришел к выводу, что репрессивный аппарат

либерального общества эпохи постмодерна формирует фашизоидный тип сознания — «одномерного человека». И делает это не менее успешно, чем его «тоталитарные» конкуренты. Это вывод тем более важный, что у нацизма и либерализма, как известно, одна и та же социальная база — средний класс. Примером государства «скрытого фашизма» для Маркузе и его единомышленников служили, в частности, Соединенные Штаты Америки с массой обывателей-реднеков.

С этой точки зрения, идеологическая карта XX столетия, расчерченная по принципу «две плохие теории — одна хорошая» уже выглядела сомнительно. Важно принять во внимание, что франкфуртцы вовсе не ставили под вопрос саму категорию тоталитарности («фашизоидности») и даже не пытались сузить ее, как иные консервативные критики «справа». Напротив, они шли по пути расширения понятия, раздвигая его рамки и содержание. В таком ракурсе любой репрессивный механизм выглядел симптомом латентного фашизма.

Многие оппоненты теории, как уже было сказано, указывали на разные социальные предпосылки двух режимов. Коммунизм апеллирует к низам, фашизм и нацизм — к среднему классу и к крупной буржуазии. Кажется, это было у Антонио Грамши: «Опора фашизма — взбесившийся средний класс...»

Но для системной критики «двойной» теории тоталитаризма этого было недостаточно. Чтобы критика теории переросла в стратегию и набрала достаточную объяснительную силу, был нужен системный взгляд на политическую историю. Прежде всего надо было разобраться с тем, почему политический

мейнстрим XX столетия — либерализм — упорно выводится за пределы проблемного поля.

\*\*\*

Попытки выйти за привычные рамки исследований тоталитаризма стали особенно заметны к 1990-м гг. Пожалуй, наиболее интересной можно считать позицию Иммануэля Валлерстайна, изложенную им в работе «После либерализма». Вышла эта книга в Нью-Йорке в 1995-м. То есть всего через три года после благостной либеральной утопии Френсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» (1992).

В центре внимания Валлерстайна стояла более масштабная проблема, нежели вопрос о критериях тоталитаризма, — история и смерть либерализма как двухсотлетнего политического проекта. Но с темой тоталитарности это, разумеется, связано напрямую.

Отличительной чертой валлерстайновской позиции можно считать восприятие фашизма и коммунизма не как двух идеологий, противостоящих либеральной демократии, а как составных частей большого либерального проекта, который берет начало в 1789 г. Эта смена ракурса принципиально важна. Именно она задавала новую перспективу рассмотрения старой «околототалитарной» проблематики. Когда впервые открываешь Валлерстайна, не веришь своим глазам. Он дает картину событий XX в., абсолютно не похожую на ту, что мы привыкли видеть в советских и постсоветских учебниках, а также в западной прессе.

Цель, заявленная автором, проста. Он стремится описать уже начинавшийся, по его мнению, «процесс

разжалования либерализма с его поста геокультурной нормы». А это требует проследить тесную связь либерализма с консервативной и социалистической идеями до фашизма и коммунизма включительно. Валлерстайн определяет «современность» как эпоху либерального доминирования, которая укладывается в два столетия — между Французской революцией и крушением СССР. И берется утверждать, что противостояние трех политических концепций с самого начала было иллюзорным, схоластическим и подчинялось потребностям европейской и мировой Realpolitik.

Социализм в России, согласно Валлерстайну, не был самостоятельным политическим проектом. И хотя Октябрь 1917-го кардинально перепахал социально-политический ландшафт, уже в 1920-е гг. советский режим негласно вошел в консенсус мировых элит. Разговоры о мировой революции в этот период выродились в чистую риторику, выгодную всем участникам консенсуса. Именно в силу этой негласной конвенции холодная война так и не перешла в горячую фазу.

Исходя из этих позиций, можно утверждать: смысл Второй мировой войны состоит в том, что наиболее реакционная часть либерального истеблишмента (а не социалистический Советский Союз) вышла за рамки консенсуса и нанесла удар по одному из его участников. Но с победой Советов консенсус был восстановлен, причем на более выгодных для СССР условиях, хотя и ценой огромных жертв.

В чем же в таком случае системная ошибка западной советологии? В чудовищной переоценке советского проекта.

По мнению Валлерстайна, русский социализм, в отличие от классического марксизма, под видом классового противостояния разрабатывал иную идею — идею национального освобождения, а точнее, демонтажа старой колониальной системы в мировом масштабе. Но первопроходцами Ленин и Троцкий здесь не были. Проект изначально возник в рамках миротворческой политики президента США Вудро Вильсона и его последователей, лишь позднее получив второе, социалистическое издание.

Речь в обоих случаях шла о сломе старого мирового порядка. И здесь США и СССР, несмотря на идеологическое противостояние, на самом деле служившее вершиной политического айсберга, решали одну и ту же задачу. Так называемое соперничество двух систем было выгодно всем участникам. Почему?

Желание покончить с европейской формой колониализма ради новой — экономической, глобальной, планетарной — вот одна из причин альянса двух идеологий, либеральной и социалистической. Но не единственная. Чтобы планетарная доктрина считалась легитимной, она обязательно должна была иметь глобального оппонента. А чтобы сохранять свой статус, ей было необходимо обеспечить игру по правилам с этим оппонентом. Таким образом, согласно Валлерстайну, советский социализм сыграл роль карманной альтернативы и удобного спарринг-партнера для мирового либерализма. Вывод на первый взгляд несколько неожиданный.

Характеризуя период 1945–1990 гг., Валлерстайн вообще не использует понятие «дуполярный мир». Он уверен: «СССР можно рассматри-



вать в качестве субимпериалистической державы по отношению к Соединенным Штатам постольку, поскольку он поддерживал порядок и стабильность в своей зоне влияния, что на самом деле увеличивало способность Соединенных Штатов к поддержанию собственного мирового господства. Сама напряженность той идеологической борьбы, которая, в конечном итоге, не имела большого значения, играла на руку Соединенным Штатам и была для них серьезным политическим подспорьем (как, несомненно, и для руководства СССР). Кроме того, СССР служил Соединенным Штатам своего рода идеологическим прикрытием в странах третьего мира».

Косвенно этот тезис подтверждается историей нефтедобывающих стран (ОПЕК). Когда они попытались создать картель и шантажировать Запад, именно СССР пришел на помощь «миру капитала» и открыл для него вентиль на полную, не слишком задирая цену. Показательно и индифферентное отношение США и их союзников к силовому подавлению восстаний в Восточном блоке (1953, 1968, 1980–1981).

Постепенно этот либерально-социалистический консенсус становился все более очевидным. Только СССР оставался заповедником девственно чистых идей, которые господствовали и в лагере «лоялистов», и в лагере «диссидентов». Получается, что советские ортодоксы по существу разделяли анти-тоталитарную теорию своих оппонентов, только наделяли ее противоположным смыслом, меняя знаки — плюс на минус («коммунизм — хорошо, капитализм — плохо»).

Но западные интеллектуалы давно осознали реальную конфигурацию сил. Именно поэтому «революционеры 1968 г. выдвинули протест против этого консенсуса, и прежде всего против исторической трансформации социализма, даже ленинского социализма, в либерал-социализм», пишет Валлерстайн. В конечном счете «революция 1968 г. подорвала фундамент всего идеологического консенсуса, возведенного Соединенными Штатами, включая его козырного туза — прикрытие советским щитом».

А уже «в 1989 г. те, кто был разочарован либеральным консенсусом, повернулся против наиболее ярких выразителей либерал-социалистической идеологии, режимов советского типа, во имя свободного рынка».

Консенсус исчерпал себя. Советский щит либерального проекта, став прозрачным, исчез за ненадобностью.

Что же произошло в 1989 г.?

Валлерстайн уверен: «О том, что произошло в 1989 г., много писали как о завершении периода 1945—1989 гг., считая его датой поражения СССР в холодной войне. Эту дату полезнее было бы рассматривать как конец периода 1789—1989 гг., иначе говоря, времени победы и поражения, взлета и постепенного упадка либерализма как глобальной идеологии — я называю ее геокультурой — современной миросистемы».

О причинах краха двуполярного мира можно говорить долго. Но для нас важен итог этого процесса. И автор «После либерализма» определяет этот итог предельно точно. «Вильсонянцы, — пишет он, —

лишились, наконец, ленинистского щита, направившего нетерпение третьего мира в русло такой стратегии, которая, с точки зрения господствующих на международной арене сил, в минимальной степени угрожала той системе, против которой выступал третий мир».

Из сказанного следует важный вывод. Так называемый крах коммунистических режимов имел не внутренние, а внешние причины, которые заключались не в устройстве самих режимов, а в логике развития всей либеральной миросистемы, частью которой эти режимы являлись, существуя на правах мнимой и потому безопасной «альтернативы». А следовательно было бы правильнее определить конец советской системы не как крах, а как демонтаж.

Как ни парадоксально, «последними, кто серьезно верил в обещания либерализма, были коммунистические партии старого образца в бывшем коммунистическом блоке. Без продолжения их участия в обсуждении этих обещаний господствующие слои во всем мире потеряли любые возможности контроля над мировыми трудящимися классами иначе, чем силовыми методами... Но одна только сила, как мы знаем со времен по крайней мере Макиавелли, не может обеспечить политическим структурам очень длительного выживания», — уверен Валлерстайн.

Легко вывести из этого тезиса главную мысль: либеральный мир, не имея альтернативы, не имеет и легитимности. Теряя идеологическую привлекательность и накапливая экономические проблемы, он вынужден прибегать к военной силе, поскольку других способов контроля над ситуацией уже не осталось.

Каково же будущее либеральной миросистемы после падения коммунистического щита? Она неизбежно будет терять остатки легитимности, упрощаться, ужесточаться и архаизироваться. Или, другими словами, проваливаться в собственное колониалистское прошлое.

В этом смысле очень интересен феномен *неолиберализма*, по сути смыкающийся с неоконсервативным трендом. Если прежде в либеральной среде было принято рассуждать об обществе равных возможностей, то неолибералы (преемники либералов) считают, что «равные возможности» — это угроза для обладателей экономических привилегий. Но отход от идеи «равных возможностей» — очевидный шаг в сторону сословного государства. То есть того самого явления, с которым призывали покончить европейские буржуазные революции XVIII в., в лоне которых окреп и вырос либеральный проект.

Таким образом, либерализм пришел к отрицанию собственных «священных» ценностей. Сегодняшний либеральный мир в ценностном смысле опустился ниже планки 1789 г. Что позволяет охарактеризовать его экономическую модель уже не как поздний капитализм, но как денежный феодализм, и все это, безусловно, свидетельствует о глубочайшем кризисе либеральной теории.

Впрочем, удивляться тут нечему, учитывая, что либерализм сегодня считается тоталитарной системой почти официально. Раньше он прибегал к мимикрии, перекладывая полицейские (тоталитарные) функции на дочерние режимы и направлял недовольство в безопасное русло. С этой целью, в частности, теория тоталитаризма и использова-

лась либеральными элитами. А сегодня? Штабная экономика, культур-расистский дискурс в политике, военные удары... Все эти издержки и диспропорции уже невозможно оправдать наличием геополитических соперников.

Либеральный проект, оставшись без добавочного политического модуля, становится все агрессивнее. И этот тоталитарный либерализм ждет неминуемая утрата легитимности в глазах не только угнетаемых наций, но и западного общества. Но по-другому удерживать *status quo* уже не получается.

Данная ситуация свидетельствует о конце более чем 200-летнего исторического проекта.

\*\*\*

Возникает естественный вопрос: в какой идеологической системе отсутствует логика исключения, принцип «мы — они»? Ответ очень простой. Такая система есть, ей две тысячи лет. Это апостольское христианство. Определение «апостольское» отнюдь не лишнее: в течение веков христианское учение испытывало самые разные деформации, выразившиеся то в крестовых походах, то в положениях протестантской этики.

Мальтузианский принцип тотальной конкуренции противоположен христианской морали. Именно поэтому по мере ужесточения либеральной политики (вне всякого сомнения наследующей мальтузианству) все более активной становится борьба с религией, которую ведут идеологи глобального секулярного мира. Запреты на публичное ношение крестов, осквернение и разрушение храмов, спиливание крестов, пляски на амвоне и разжига-

ние ненависти к религии — все это приветствуется «хозяевами дискурса».

Диаметрально противоположные ценности — это одна причина конфликта. Но есть и другая. Христианство стоит на страже традиционных общественных институтов, а они являются нежелательной помехой для колониального мышления. В «глобализированном мире» не должно остаться ничего традиционного — таков принцип современного либерализма. Традиция мешает управлению, свободному манипулированию информацией и потоками капитала. Поэтому либеральными элитами взят курс на воинствующий антитрадиционализм, который грозит превзойти «достижения» государственного атеизма советского образца.

Но почему так исторически сложилось, откуда это кардинальное расхождение? И нет ли в либеральной доктрине скрытой религиозной составляющей? На этом следует остановиться подробнее.

Исторически зрелый тоталитаризм — это последнее звено в цепочке, которая берет начало с отказа от традиционного христианства. То есть с европейской Реформации.

Полностью сбрасывать со счетов богословский аспект проблемы было бы неверно. Речь идет о «протестантской этике», которая давно является скорее политическим, нежели религиозным феноменом.

Тем не менее, отметим, что именно в рамках европейской Реформации возник особый тип европейского мирозерцания, основанный на идее «избранности» одних людей по сравнению с другими. В XVI в. эту идею было принято понимать чисто теологически, как «избранность ко спасению».

В соответствии с ортодоксальным христианством спасение, как известно, есть категория неземной жизни. Однако мерилом «избранности» в рамках протестантской (особенно кальвинистской) этики все чаще становился материальный «успех» в земном мире. Эта концепция и стала отправной точкой для либерального проекта.

Позднее на этот морально-этический фундамент наслоиась философия Просвещения. Причем в бытовом, не-философском, понимании идея «просвещения» дикарей становилась своеобразной индульгенцией для колониальных захватов и шла рука об руку с военно-техническим прогрессом.

Но какие именно ценности цивилизованный мир так стремился «преподать» дикарям в обмен на живой товар, драгоценности, колониальную экзотику и дешевый труд?

Ценности европейской цивилизации в колониальную эпоху включали в себя либеральные идеи «естественных прав», парламентаризма и «свободной торговли». Причем термин «свобода торговли» понимался порой так широко, что включал в себя сбыт живого товара, «принуждение к рынку» (Опиумные войны в Китае), угнетение и унижение туземного населения и т. п.

Таким образом, «естественные права» одних утверждались отнятием прав у других. Свобода европейцев оплачивалась угнетением мировых окраин. Технический арсенал для захватов обеспечивался успехами европейской науки, а жажда прибыли и материального успеха — доктриной «протестантской этики».

В этом русле и шло развитие либерализма вплоть до эпохи «золотого миллиарда». Советский проект породил иллюзию выхода из этого круга и до поры до времени спасал либеральный мир от восстания окраин. Он давал угнетенным призрачную надежду и мнимую возможность выбора.

Макс Хоркхаймер однажды очень точно сказал: «Тоталитарный режим есть не что иное, как его предшественник, буржуазно-демократический порядок, вдруг потерявший свои украшения».

Сегодня подлинный генезис тоталитаризма перестает быть тайной за семью печатями. Вопреки мнениям Карла Поппера, писавшего о «закрытости традиционных обществ», и Ханны Арендт, с ее тезисом о панславистских корнях большевизма, тоталитаризм — продукт западной культуры Нового времени. Это совершенно очевидно.

\*\*\*

Теперь мы можем вернуться к главному вопросу: что произошло с представлениями о тоталитаризме в XX в. и почему столь неубедительная теория появилась на свет и стала одним из устойчивых стереотипов массового сознания.

Чтобы замаскировать неудачную родословную тоталитаризма, его защитники всегда были готовы сохранить в списке критериев тоталитарного общества «сильную власть», но затушевать рационализм и дух модерни. Кроме того, они то и дело норовили подменить корпоративный коллективизм фашистского строя общинностью и соборностью русского, православного или — шире — любого традиционного общества. После серии таких подмен те-



ория «двойного тоталитаризма» сделалась удобным политическим орудием, заточенным против любой традиции, в том числе и против европейского христианства. Которое, как мы сегодня видим, стало жертвой глобального секулярного проекта.

Скрывать пришлось не только истоки тоталитаризма, но и подлинные причины его расцвета в XX в. Собственно говоря, феномен германского нацизма адепты теории бинарного тоталитаризма предпочли не исследовать, а, скорее, заклясть, навесив табличку «фашизм». По сути это был негласный интеллектуальный карантин.

Врага желательно знать в лицо. Но европейская рефлексия тоталитаризма пошла кружным путем, далеко уводящим от существа вопроса. Моральное отрицание нацизма и фашизма стало обязательным (что само по себе правильно), а вот их серьезное научное исследование попало в разряд общественных табу.

По-видимому, это закономерно. Ведь даже при беглом взгляде смысл явления слишком очевиден. Фашисты не привнесли в политическую практику западного общества ничего нового. Они лишь поменяли контекст — с туземного на внутриевропейский.

Например, касаясь в своих выступлениях «восточного вопроса», Гитлер говорил о том, что восточные территории должны стать для Германии тем же, чем стала Индия для британцев. Аналогичная ситуация сложилась с концлагерями. Впервые их придумали и воплотили англичане в ходе англо-бурской войны. Но если, будучи применена в Южной Африке, эта практика не вызывала особого беспо-

койства у европейской общественности, то те же методы, применяемые в центре Европы и к европейцам, вызвали настоящий шок. Что допустимо на задворках «свободного мира», то немислимо в самом «свободном мире».

\*\*\*

Сегодня морально устаревшая теория тоталитаризма удовлетворяет далеко не всех. Либерализм теряет способность объяснять себя.

Возникает вопрос: была ли либеральная система в XX в. с самого начала тоталитарной? Безусловно, была. И потому, что создала инфраструктуру мирового господства, включив в нее советскую «альтернативу» на правах подсистемы. И потому что германская контрсистема, просуществовавшая 12 лет, имела стопроцентно либеральные корни.

Как известно, Иосиф Сталин, комментируя итоги войны, не произнес слова «фашизм». Он говорил исключительно о германском империализме. Третий рейх был бесчеловечнее, а, следовательно, либеральнее своих оппонентов. Но этот либеральный контрпроект провалился.

СССР стал хотя и удаленной, но полноценной частью американского проекта. Советские вожди не были свободны в своих решениях и подчинялись «правилам игры», тогда как Третий рейх попытался осуществить слом системы, овладев европейским хартлендом. Поэтому называть советскую систему отдельным, самостоятельным тоталитаризмом совершенно некорректно.

Таким образом, в XX в. мы имели три взаимосвязанные идеологии. Это идеология-гегемон (ли-

берализм), ее радикальное ответвление (нацизм) и идеология прикрытия, спутник идеологии-гегемона (советский социализм).

Теорию «двойного тоталитаризма» пора признать несостоятельной. В действительности есть только один тоталитарный режим — либеральный. Фашизм и коммунизм являются не его конкурентами, а его составными частями. Первый представляет собой ядро, а второй — периферию. Поэтому выстраивать систему «два тоталитаризма — одна демократия» просто не имеет смысла. Можно говорить о трех тоталитаризмах, но в этом случае слово «тоталитаризм» кардинально меняет смысл. Оно обозначает уже не доктрины, а состояние идеологического пространства в целом, которое возникло в XX в.

Следовательно, правильно говорить не об отдельных идеях, а о состоянии тоталитаризма, в которое вошли европейская мысль и европейская политика в прошлом столетии.

«Состояние тоталитаризма» и есть конечный продукт развития европейской мысли после 1789 г.

Подлинным конкурентом тоталитаризма было и остается только христианство.

## Глобализм

Экономика не является зоной, закрытой для осмысления с точки зрения Слова Божьего. Христианин может выносить свое суждение и оценку процессам, связанным, в частности, с современным феноменом глобализации.

Разумеется, члены Церкви не претендуют на знание основ биржевой аналитики или законов функционирования сырьевых рынков. Но общие подходы в макроэкономике, связанные с долгосрочными социально-политическими приоритетами, были и будут для нас предметом серьезного разговора. В противном случае проблемы мирового развития в целом превратились бы в замкнутую сферу оккультного знания, а вместо экспертизы и аналитики мы бы получили некое подобие жреческих практик, не подвластных общественному контролю. Такая ситуация недопустима ни с точки зрения христианской морали, ни с точки зрения элементарных требований демократического подхода к обществу и человеку.

За макроэкономикой стоит судьба миллионов людей и их интересов. Начнем с определения глобализации. Глобализацию можно определить как навязанную мировыми финансовыми центрами систему экономических и политических отношений, невыгодную для большинства национальных

субъектов. Итогом становится растущий мировой кризис и архаизация политики, выражающаяся в таких явлениях, как рыночный фундаментализм, правовой нигилизм, христианофобия, неонацизм.

Мотором глобализации является экспансия капитала, но поскольку мировые рынки поделены и перенасыщены, она уже уперлась в потолок своих возможностей. Отсюда соблазн строить долговую экономику и брать в долг у следующих поколений. Но эти меры — лишь отсрочка неизбежного коллапса системы.

Тем не менее, глобализированная экономика несет с собой богатый набор инструментов принуждения. Яркий пример — проект Трансатлантического партнерства, который США долго навязывали Европе и который, если он будет принят, обескровит Западную Европу точно так же, как Западная Европа обескровила собственную «периферию» — Грецию, Португалию, Прибалтику, Украину.

Систему глобалистских институтов обслуживает идеология монетарного постгуманизма, характерная прежде всего для адептов так называемого неолиберального консенсуса, чье доминирование, судя по всему, вступило в фазу завершения. Преодоление границ и формирование единого культурно-экономического пространства, о котором говорят сторонники этой идеологии, на деле представляет собой односторонний процесс. Попробуйте войти со своим капиталом на американский или европейский рынок, купить что-то более серьезное, чем сеть закусовых. Другой пример: для стран, вступивших в ВТО, существует договор о взаимных обязательствах с этой организацией, предполагающий ослабление тарифных

и таможенных барьеров в обмен на кредиты и технологии. Санкции, введенные по отношению к России, фактически равнозначны отказу другой стороны от своих обязанностей по договору. Разве мы не должны в этом случае отказаться от своей части обязательств? И это не единственный пример «сотрудничества», свидетельствующий о необходимости серьезного анализа последствий глобализации.

Сегодня в ходу различные формы «монетизации личности», когда экономика пытается подавить элементы человеческой идентичности, которые не подвластны законам рыночного обмена (вера, мораль, семейные ценности, национально-культурная специфика). И это не может не внушать тревогу.

Общественный контроль за экономическими решениями и этические приоритеты в рамках такого контроля необходимы. Это условия устойчивого развития и социальной стабильности.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» хозяйственная деятельность рассматривается как «соработничество Богу». Раскроем этот тезис. Прежде всего необходимо отказаться от ряда очевидных стереотипов, которые мешают отрефлексировать христианский подход к социально-экономической реальности. Один из них связан с убеждением в том, что экономика представляет собой некую автономную сферу. «Чистой» экономики в мире не существует, как не существует чистого разума или чистого искусства. И то и другое и третье — культурспецифичные явления, психологически и идеологически опосредованные.

Христианская ортодоксия — это культурно-этическая матрица, которая, подобно протестантской

матрице, как это было описано у Макса Вебера, способна порождать собственный формат хозяйственных отношений и хозяйственной этики. Поэтому необходимо соизмерять экономическую деятельность с категориями нравственности.

Еще один важный момент заключается в том, что любые догмы — коммунистические, неолиберальные, постгуманистические, секуляристские — если они вторгаются в сферу морального выбора, с точки зрения христианской ортодоксии является идолопоклонством. И одним из проявлений такого рода идолопоклонства является сакрализация понятия «глобализация».

Необходимо избавиться от отношения к глобализации как к чему-то фатальному и безальтернативному. Во-первых, следует понимать, что понятие «глобальный» («глобалистский») вовсе не означает по умолчанию «универсальный», поскольку данный проект создан, как уже было сказано выше, на базе протестантской цивилизационной матрицы, оснащенной идеологическим инструментарием монетарного постгуманизма. Во-вторых, существуют естественные пределы глобализации, и они уже достигнуты. В мире усиливается системный кризис, связанный с невозможностью расширения рынков, то есть кризис падения эффективности капитала. Ресурсы и возможности развития в рамках прежней парадигмы объективно исчерпаны. На фоне этого кризиса концепция глобального мира обнаруживает идеологическую слабость.

Глобализация достигла пределов, но застыть в одной точке она не может, поэтому проект начинает сыпаться. Этот процесс идет по нарастающей,

и наша задача — успеть возвести несущие конструкции новой экономической модели и нового политического мышления, прежде чем старая «постройка» окончательно разрушится. Поэтому в настоящее время в среде политиков и интеллектуалов активно формируется группа с альтернативными взглядами на экономику и общество, которая критикует систему ценностей глобального проекта и которой предстоит в условиях его краха дать миру новую социально-экономическую модель — более нравственную, более справедливую и более долговечную. Над этим идет активная работа. От старой модели, основанной на ссудном проценте и тотальной зависимости, придется избавляться. И чем раньше это будет сделано, тем менее разрушительны будут последствия для общества.

Важнейшим социально-психологическим явлением, сопутствующим глобализации, стало повсеместное распространение культа потребления. Гедонизм стал гражданской религией — «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15, 32). Но современное потребление проявляется не только в гедонизме. Современное «статусное» потребление таково, что речь идет о потребительских и поведенческих кодах, подобных дресс-коду, от которых зависит социализация и социальная идентификация личности. И это, разумеется, затрудняет реализацию свободы выбора, дарованной человеку Богом.

Статусное, регламентированное потребление практикуется для удовлетворения комплекса социального превосходства или социальной «полноценности», оно превращается в ритуальную практику, направленную на символическое достижение во-



ображаемого изобилия, полноты (ср. выражение «быть в тренде»), то есть некой гиперреальности, пародии на Эдем. Эти материально-символические практики представляют собой форму идолопоклонства, присущую секулярной квазирелигиозности. Навязанные модели потребления, несмотря на тезис о «свободе» и «открытых возможностях», несут в себе такое же рабство, как и принудительное производство, но рабство не физическое, а умственное и духовное. Религия потребления обращает человека в бегство от себя и дарованной ему Богом свободы выбора — к иллюзорному, мнимому выбору.

Отдельный и важный предмет для критики с христианских позиций — это «догоняющая» модель модернизации. К сожалению, данная идеологема, будучи принята к исполнению, разрушает социальную структуру и духовную жизнь «догоняющих» обществ, но не позволяет приблизиться к кумиру даже в материальной сфере. Так называемое лидерство крупных экономических игроков оплачено ресурсами «догоняющих» — поэтому богатые государства продолжают обогащаться за счет всех остальных. Но реальная конкуренция — это конкуренция проектов, а не игроков одного проекта, осуществляемая по правилам, которые определяют монополисты.

Нельзя обойти вниманием и рост социального неравенства. Нередко социальное неравенство обосновывается социал-дарвинистскими и социал-расистскими идеями о «естественном отборе», «генетическом мусоре», «социальном балласте» и 85 % населения, которые составляют проблему для 15 % успешных. Все это напоминает о мрачных временах сословных обществ.

Несколько лет назад в лоне Церкви возник тезис: «Жизнеспособна лишь такая экономика, которая сочетает эффективность со справедливостью и общественной солидарностью» (Послание Предстоятелей Православных церквей от 12 октября 2008 г.). Для такого подхода объективно необходим суверенитет, приоритет национального права над международными квазиправовыми институтами. Последние, подчеркнем, не легитимизированы никакими электоральными и плебисцитарными процедурами.

Для реализации принципов нравственной экономики необходимо ограничить аппетиты транснациональных элит, легитимность которых близка к нулю, тогда как их влияние на мировую экономику безмерно. Эта диспропорция вместе с порождающей ее диктатурой корпоративного типа должна быть пересмотрена. Само существование таких элит представляет собой печальное наследие колониальной эпохи. Здесь надо начать с покаяния и компенсации со стороны ряда западных стран за колонизацию. Уверен, что со временем неизбежен международный суд над колониализмом и неонацизмом.

Пример современного неоколониализма — размещение золотовалютных резервов за пределами страны, обслуживание чужих экономик, внешний контроль за банковской сферой. Все это связывает национальные ресурсы и исключает нормальные инвестиции для собственного рынка, ведет к недомонетизированности периферийных экономик. Для решения многих из указанных проблем национально ориентированные специалисты предлагают национализацию банковской системы (но не производственного сектора).

Нельзя не отметить неограниченную эмиссию как единоличное право одного-двух мировых центров. Привилегии эмитентов недопустимы. Именно они привели к порочной модели стимулирования роста экономки за счет эмиссии долларов.

Современная долговая экономика основана на перекредитовании, которое представляет собой привычку брать займы у будущих поколений. Но основой экономики должны быть не умножение искусственных потребностей, не искусственная накачка спроса и не финансовые спекуляции. Людей приучили жить не по средствам. А теперь в России приходится в срочном порядке брать под контроль деятельность коллекторских агентств и спасать ипотечников, которые не в состоянии отдать валютный заем по новому курсу после спекулятивной девальвации рубля.

В мировом масштабе неограниченная эмиссия создает над экономикой навес из необеспеченной денежной массы. В какой-то момент начинается схлопывание финансовых «пузырей» («пирамид»), как было с американскими компаниями в 2008 г., а в конце концов и мировой финансовой системы в целом. «Лишние» деньги стоило бы направить не на бесконечное формирование все новых и новых потребностей, но на преодоление социального неравенства, лечение болезней, заботу об экологии и на другие действительно полезные вещи, улучшающие жизнь всех членов общества, а не на вознесение одних людей над другими.

В сегодняшнем режиме санкций мы могли бы диверсифицировать экономику, ослабить ее кредитную и сырьевую зависимость, ввести собственную

платежную систему и прогрессивную шкалу налогообложения, подумать о государственном контроле над банковской и культурной сферами. Тогда как в обычных условиях эти меры откладываются бесконечно, а любые инициативы вязнут в бюрократическом болоте. Сегодня у страны появился исторический шанс выскочить из экстенсивной модели зависимого периферийного развития.

Существование в качестве придатка разваливающегося, доказавшего свою аморальность и неэффективность проекта не совместимо с религиозной и цивилизационной миссией русского народа, а также самого российского государства. Православный взгляд на все сферы жизни, включая народ, экономику, основан на библейской ценностной базе. Россия, ее народ, ее традиция не могут подчиняться мировой корпорации во главе с неким советом директоров и выступать в роли «непрофильного актива». Важная задача сегодня — создать национально мыслящую элиту, слой «органических интеллектуалов», которая бы взяла на себя бремя выработки нового проекта развития и обеспечивала его теоретический потенциал. Мы стоим перед необходимостью возродить собственное проектное мышление в экономической, социальной и политической сфере. Это вопрос отнюдь не только национального престижа, но исторического выживания народа и государства.

# РЕЛИГИЯ



## Постгуманизм

Сегодня мы с прискорбием наблюдаем самую настоящую христианофобию, умело разжигаемую частью западного политикума. Речь не только и не столько об отношении к собственно религии. Речь о христианских ценностях, о константах той картины мира, с которой нам жить дальше.

\*\*\*

Болезнь зашла слишком далеко. Дело здесь не только в моральной стороне вопроса, не только в том, «хорошо или плохо мы себя ведем». С потерей нравственных ориентиров общество теряет и идентичность, ощущение собственного «я». В психологии есть понятие «стадия зеркала» — это момент, когда маленький ребенок начинает идентифицировать собственный образ. При регрессе и распаде личности это самоощущение утрачивается, стадия зеркала проходится вновь, но уже в обратную сторону. Надо признать, что западный мир сегодня находится в шаге от этого исхода. А дальше — потеря исторической субъектности, выпадение из истории. Нельзя сказать, что общество об этом совсем уж не догадывается и этого не боится. Догадывается, и сигналы, в том числе по «каналам», связанным с Ближним Востоком, понимает правильно. Но, к сожалению, страх утраты себя, страх «расколото-

го я» пока еще не породил в обществе волю к целенаправленным действиям. Страх еще не мобилизует, но парализует, и это опасно. Как бы не опоздать.

Известно, что в медицине симптоматика служит отправной точкой для постановки диагноза и выбора лечения, но немалое значение имеет и анамнез — история болезни и сопутствующих ей факторов. Патриарх Кирилл говорит об этом так: «Мы сегодня говорим о глобальной ереси человекопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни. <...> И именно на преодоление этой ереси современности, последствия которой могут иметь прямые апокалипсические события, сегодня Церковь и должна направлять силу своей защиты, силу своего слова, силу своей мысли».

В западном обществе в результате сомнительного идеологического выбора назрел системный кризис, причем не одни только христиане ощущают на себе его последствия. Терроризм, как ни горько это осознавать, — одно из следствий идеологического монизма, который до сих пор нередко исповедуется западным политикумом под видом универсальных ценностей. И благородная идея защиты «прав человека», положенная в основу этой доктрины, ее, к сожалению, не спасает. Во-первых, потому что на практике такая защита, как правило, девальвирована избирательным подходом к субъектам права. Во-вторых, сама эта идея имеет больше одного прочтения. Например, христиане решают проблему в рамках *нравственного* права, на основе традиции и четких этических критериев, а общество модерна — с позиций формального *естественного* права, которое не гарантирует равной защиты правовым субъектам,



поскольку границы прав одного определяются умозрительно, границами прав другого.

Вопрос о смене идеологической рамки западного общества давно витает в воздухе, об этом говорят и в Европе, и в США. Но далеко не все хотят этих перемен. Поэтому стражи неолиберальных догматов пока еще на всякий случай демонстрируют охранительный рефлекс и пытаются идти привычным шагом, не стремясь на ходу переобуться. Нетрудно предсказать, что спустя недолгое время именно эти люди впадут в другую крайность и сделаются «твердокаменными» фундаменталистами, ретивыми поборниками «устоев». Прокрутится это кино на наших глазах достаточно скоро. Но сегодня ломание копий по поводу антитезы «религия — секулярность» или «традиция — гуманизм» еще в тренде, и орто-дискурс пока еще представляется чем-то не совсем обычным. Поэтому как раз сегодня есть смысл еще раз сказать несколько слов о гуманизме, религии, секулярности и правах человека для разъяснения того, о чем на самом деле идет речь.

\*\*\*

Со времен научного атеизма минуло больше четверти века, но еще жив стереотип, согласно которому человечество в эпоху модерна, постепенно отдаляясь от христианства, отдалялось от религиозности вообще, изымая из своего сознания категорию сакрального. В последние десятилетия эта философическая утопия была поколеблена учеными, да и самим ходом развития общества. Стало понятно, что секулярность есть не что иное, как инверсная форма все той же религиозности. Возникло понятие пост-

секулярности, очевидное для академической среды и интуитивно понятное обывателю, но отторгаемое влиятельной частью политикума. Попытки достучаться до него предпринимались многократно, но никакие «звоночки» и предупреждения не действовали на правящие элиты.

Сторонники секуляризма говорят о безрелигиозном обществе. Но тогда что такое «законы природы», которые можно и нужно «открывать», «естественные» права, наконец, что такое линейная модель истории, на которую они опираются, если не часть религиозного мифа? В неавраамических культурах модель времени циклична, в Писании она линейна. Откуда они взяли эту линейность, как не из Священной истории, приспособив ее для своих нужд и поменяв «настройки»? В итоге мы имеем нечто, что уже до нас сформулировали, например, так: «Нет бога кроме Прогресса, и Генри Форд — пророк его». Это — религия. Иная, нежели та, к которой мы привыкли, и — если смотреть с точки зрения традиции — с приставкой «квази-».

Трансцендентальная предпосылка всегда присутствует в человеческом мышлении, целеположении и деятельности. Поэтому мифорелигиозная функция, попросту говоря, неустранима из психики человека. Человеческая психика структурирована таким образом, что в ней есть вакантное место Высшего Закона. Эту ситуацию мы изменить не в состоянии, а вот что именно будет содержанием и источником Закона, мы вольны выбирать. И если вы отказываетесь от Бога, то «богом» для вас становится что-то другое.

Философы полагают, что при отрицании какой-либо онтологии сама логика, точнее, сама парадигма этого отрицания автоматически получает статус новой онтологии. Тот же принцип работает и в сфере религиозного: система антирелигиозных взглядов сама построена на произвольных предпосылках и допущениях и тоже представляет собой мифорелигиозную конструкцию. Вот почему о секулярном гуманизме следует говорить не только как об идеологии, но и как о (квази)религиозной системе.

Например, профессор Йельского университета Харольд Блум опубликовал книгу «Американская религия», которая получила скандальную известность из-за утверждения автора о том, что Америка религиозна, но ее подлинная религия «не является христианской, по крайней мере, в европейском понимании, она, скорее всего, гностическая. Американская религия не верит и не полагается, она — знает, хотя всегда хочет знать еще больше. Американская религия манифестирует себя как жажда информации». Другой пример — концепция Маршалла Маклюэна о «неоплеменном обществе» в информационную эпоху, когда общее информационное пространство заменяет первобытный коллективный разум. Таких примеров много, но предупреждают они примерно об одном. Мифорелигиозный аспект не может быть устранен из коллективного и индивидуального сознания. Иными словами, общество выбирает не между религиозной традицией и «чем-то еще». Оно в широком смысле неизбежно выбирает между двумя или несколькими религиями. Это если рассматривать ситуацию в статике.

Теперь посмотрим на нее с точки зрения исторической динамики.

Исторический гуманизм не сразу, но со временем отвергает религию в качестве трансцендентальной предпосылки и заменяет ее мифом об универсальном человеке, который якобы существует как нечто автономное по отношению к остальной природе. Но на этом движение прочь от христианской модели мира и человека не заканчивается. Строго говоря, беда гуманизма не в том, что он изначально был задуман как что-то дурное (хотя безбожие никак нельзя назвать достоинством), но в том, что без категории божественного он не способен удержаться в собственных рамках и подвержен регрессу. Доктрина гуманизма — не целое, а часть от целого. Поэтому ее удел — бесконечное дробление.

Раз начавшись, процесс сепарации, отделения творения от творца в сознании человека уже не может остановиться. В эпоху Возрождения миру явлена идея разносторонней ренессансной личности. Но спустя три века, в эпоху Просвещения, сакральностью наделяется уже только часть этой личности — разум, рациональное начало; все остальное как бы отпадает, отшелушивается. Идеал абстрактной личности беднеет. Век спустя от рациональности отделяется система научно-критического мировоззрения, претендующая на законченность. Новый, гуманистический символ веры распадается на части, как матрешка. Логика распада неумолима: на следующем этапе фундаментальная наука уступает место технологиям, уже не претендующим на познание Вселенной как целого. Затем привилегированный статус получают виртуальные технологии. А дальше?

Дальше — эпистемологический провал, в жерле которого вновь обнаруживаются клокочущие языческие магмы «нового пантеизма», нового варварства, новых культов. Эта ситуация в некоторой степени отражена в концепции постсекулярности (в диапазоне от Ю. Хабермаса до Дж. Милбанка), о которой адепты антихристианского гуманизма не слышали или претворяются, что не слышали.

Разрыв европейской традиции на «человеческое» и «потустороннее», на рациональное и «средневековое» имел самые серьезные последствия. Во-первых, он привел к отселению Церкви в своеобразное гетто. Во-вторых, предопределил расцвет и упадок просветительской утопии.

\*\*\*

Вопрос о смене ценностно-идеологической парадигмы современного Запада, когда он будет вынесен на всеобщее обсуждение, неизбежно коснется вопроса о гуманизме. Но чтобы говорить об этом, необходимо понимать все значения понятия «гуманизм». Само слово «гуманизм» имеет, как минимум, два значения, которые не мешало бы развести друг с другом, четко разграничить. Одно из них бытовое: это мягкое отношение к конкретным людям. Но правильнее называть такой «гуманизм» гуманностью и другими, еще более подлинными именами — добротой, милосердием, эмпатией.

Другое значение понятия «гуманизм» — историческое. Это гуманизм как идеология. С бытовой, житейской гуманностью он имеет очень мало общего. Как справедливо заметил однажды публицист Максим Соколов, «гуманизм образца начала

XVI в. — это не совсем про человеколюбие, скорее, про раскрепощенную человеческую личность. Чезаре Борджиа не слишком заботился о детях, стариках и пр., что, однако же, не лишает его вместе с папой Александром VI Борджиа славного титула гуманиста». Главная особенность такого гуманизма — не «хорошее отношение» к человеку, а подстановка человека на место Бога.

Фактически именно эта позиция привела к идее «человекобога», вытеснившего библейского Богочеловека (так, например, у Ф. М. Достоевского и Н. А. Бердяева) и создала квазирелигию. Это направление мысли, в частности, активно разрабатывалось Фридрихом Ницше, «одарившим» мир сверхчеловеком Заратустрой и «Антихристианином». А затем ницшеанский сверхчеловек воплотился в идее «юберменша» в эпоху Третьего рейха, то есть в самой пещерной из идеологий. Так исторический гуманизм породил геноцид. Произошло первое скатывание западного модерна в контрмодерн, в архаику. Второе скатывание мы наблюдаем сегодня.

Исторически гуманизм и секуляризация развивались просветителями как лекарство от религиозных войн — именно этим были мотивированы идея естественных прав и «царства разума». Иммануил Кант в работе «К вечному миру» писал: «Постоянные армии должны полностью исчезнуть. Ибо, будучи постоянно готовы к войне, они непрестанно угрожают ею другим государствам. К тому же организовывать людей, для того чтобы они убивали или были убиты, означает пользоваться людьми как простыми машинами или орудиями в руках другого (государства), а это несовместимо с правами человека, присущими

каждому из нас». В XX в. мир увидел, насколько эффективен гуманизм в решении этой задачи.

«Я устал от двадцатого века, // От его окровавленных рек. // И не надо мне прав человека, // Я давно уже не человек» (Владимир Соколов). Эти строки написаны в эпоху гуманизма о вещах, порожденных гуманизмом. Можно, конечно, заявить, что автор-гуманист как раз и страдает от чего-то враждебного гуманизму, нечеловеческого, тоталитарного. Но это будет софистика. Можно сказать, что, мол, «ранние гуманисты — это все верующие люди», но ведь не случайно гуманистическая парадигма менялась в сторону удаления от христианства. Такова его, гуманизма, внутренняя логика. Не отказавшись окончательно от христианства, гуманизм не смог бы полностью обрести себя.

24 марта 1999 г. силы НАТО, растоптав все нормы международного права, начали бомбардировку Югославии. С марта по июнь, пока они продолжались, было убито более 1700 мирных жителей, включая 400 детей. За то, что оказались «на неправильной стороне истории». Люди продолжали гибнуть и позднее, поскольку в ходе бомбардировок светочи гуманизма использовали заряды с обедненным ураном. Эту дату — 24 марта — в гуманистическом «цивилизованном» мире никто не отмечает.

Гуманизм живет двойными стандартами. Он плачет по жертвам теракта в Брюсселе и Париже, но его мало волнует взрыв на стадионе в Багдаде, тысячи убитых в Сирии. Это ведь не «белые» люди или, как сейчас принято говорить, не «цивилизованные». Наследники гуманизма фанатично несли «отсталым» странам и народам «ценности цивилизации»,

они уморили в тюрьме евросоциалиста Милошевича, объявили «арабскую весну», убили вполне умеренного Каддафи. На Востоке это привело к тому, что к власти пришли настоящие людоеды-фундаменталисты. Теперь некоторые из них вместе с потоками беженцев хлынули в Европу. Но гуманистический символ веры это не поколебало. Так гуманизм порождает страшные и совсем не гуманные последствия. В частности, он порождает геноцид.

\*\*\*

Теперь — о правах человека. Строго говоря, понятия «гуманизм» и «права человека» не комплементарны, они противоречат друг другу. Дело в том, что в рамках классического гуманизма речь идет не о конкретном человеке, но об абстрактном «общечеловеке». Этот факт критики естественного права отмечали еще в XIX в., говорили о нем и позднее, причем как в левом, так и в консервативном лагере. Тем не менее, общие правовые критерии устанавливаются вполне конкретными людьми с определенным социальным статусом и личными интересами. Они и создают концепцию «общечеловеческой личности» по своему образу и подобию (предвидя возражение, добавлю: да, и в христианстве есть общее представление о человеке, но не абстрактное, а конкретное; человек создан по образу и подобию Божьему, и это подобие налагает на него вполне конкретные обязанности). Ну, а дальше можно приписывать этой несуществующей отвлеченной личности все что угодно. Этот зазор между общим и индивидуальным уже сам по себе вызывает сбой в гуманистическом правосознании.



Универсализм естественного права исторически использовался не для защиты прав конкретных людей, а чтобы прикрыть преступную практику колониализма, геноцид и социальное неравенство. Гуманизм имел социал-дарвинистскую и расистскую подкладку, которая видна, когда уважаемый костюм приходится выворачивать наизнанку. Нацисты в Германии 1930–1940-х были настолько откровенны, что заменили фиговый листок естественно-правовой теории откровенным утверждением национально-цивилизационного превосходства. Либеральный же истеблишмент продолжал и продолжает использовать камуфляж, но получается у него это все менее убедительно.

В последние десятилетия и годы мир очередной раз убедился том, что в рамках действующих правовых концепций, гуманистических и постгуманистических, права одних не могут быть эффективно защищены иначе, как только за счет ущемления прав других. Для христианина эта ситуация неприемлема. Говорить о правах человека в этих условиях кощунственно. Следует для начала признать элементарный факт. В XX–XXI вв. гуманисты проиграли, причем не кому-нибудь, а самим себе. Сегодня гуманизм скорее мертв, чем жив. Провожая его в последний путь, следует соблюдать приличия. Не стоит вытаскивать его из гроба и трясти за руки и за ноги, в надежде на то, что покойник встанет и пойдет. В истории такого не бывает.

Все это, однако же, не означает отмены вслед за гуманистическим универсализмом самого понятия «права человека». Как раз наоборот, избавление от бремени просветительской утопии позволит

наполнить это понятие реальным смыслом. Дело в том, что источник социально-правового равенства заключается не в самом понятии права и технологиях правозащиты и не в абстрактном представлении о «частной личности», он — выше. Говорить о правах человека имеет смысл в рамках традиции и нравственного подхода к праву, только в этом случае понятие «право» (неизбежно компенсированное понятием «ответственности») перестает быть фиктивным и наполняется смыслом.

В 2008 г. на архиерейском соборе РПЦ МП был принят документ под названием «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». В нем отражена позиция христианской ортодоксии в этом вопросе. В документе, в частности, сказано: «Слабость института прав человека — в том, что он, защищая свободу выбора, все менее и менее учитывает нравственное измерение жизни и свободу от греха». И еще: «Сохранение человеком богоданного достоинства и возрастание в нем обусловлено жизнью в соответствии с нравственными нормами, ибо эти нормы выражают первозаданную, а значит, истинную природу человека, не омраченную грехом. Поэтому между достоинством человека и нравственностью существует прямая связь. Более того, признание достоинства личности означает утверждение ее нравственной ответственности». На первый взгляд, эта фраза звучит так, словно она обращена исключительно к верующим. На самом деле это не так. Категории нравственности, права и ответственности существуют и для людей, не верующих в Бога как такового, но разделяющих с христианами их

нравственные принципы — эти люди находятся вне церкви, но внутри христианской нравственной и социокультурной парадигмы.

\*\*\*

Современное общество дискретно и фрагментировано, в нем усиливаются социальное расслоение, клановость; растет роль локальных идентичностей; культура приобретает все более нишевый характер, для нее характерны, с одной стороны, антитрадиционализм и антихристианские мотивы, с другой стороны, антирационализм, неприязнь к классической рациональности и фундаментальным энциклопедическим знаниям, в цене узкие компетенции, с третьей стороны — провокативность, наивная демонстративность и агрессия, примитивизация языка, ультраправый радикализм под маской остаточной гуманистической рациональности — словом, все то, что заставляет говорить о «новом варварстве» в культуре и об архаизации господствующей социальной модели.

Сегодня мы видим, как с религиозным экстазом и фанатизмом гуманизм отстаивает собственный культ, собственный «символ веры». Он претендует на «всего человека», на его душу — но не с намерением исцелить, а желая выстроить по рациональным лекалам, в соответствии с «цивилизационными стандартами». По-видимому, нынешним хозяевам дискурса, оправдывающим свою безнаказанность виртуальной борьбой с давно не существующим «совком», никакой реальной правозащиты не требуется. Они бы предпочли иметь дело с неоплеменным обществом информационной эпохи. Именно такое

общество — электронную деревню — они усиленно пытаются строить. Общество с виртуальной экономикой, избирательным правоприменением, «цивилизованной» лицензией на убийство. Таким неоплеменным обществом с электронной «прошивкой» удобно управлять.

Поэтому образ, стоящий за понятием «гуманистическая современность», сегодня выглядит все менее убедительно. Мы, современники позднего, разрушающегося модерна, все острее ощущаем, что живем в переходную эпоху.

Признаки распада отмечают и сами сторонники гуманизма. В этой ситуации западные интеллектуалы обсуждают пути и формы исторической ретиреды — отказа от гуманистического универсализма — и возможность при этом сохранить лицо. Обсуждаются идеи «несравнимости цивилизаций» и принцип «культурно-ценностного плюрализма».

Под развалинами Пальмиры и Горловки догорает эпоха. Эпоха «гуманистической» доктрины, принесшей человечеству больше горя, слез и крови, чем эпоха религиозных войн. Почему это произошло? Ответить не так уж сложно, если не избегать очевидного. Потому что гуманистические войны тоже были религиозными. Победитель становился жрецом гуманистического культа. Это позволяло ему утверждать: естественное право — это мое право, частная личность — это моя личность, независимость существует только для меня, права и свободы принадлежат мне.

Но век гуманизма закончился. Наступила эпоха постгуманизма, когда гуманистическое общество само себя разрушает и его подлинная мораль все

меньше соответствует исходным гуманистическим принципам. В этой ситуации каждый начинает создавать собственные универсалии.

Отказ от идеи гуманистического универсализма в пользу тезиса об уникальности культур — уже не вопрос принципа, а вопрос времени. Сегодня продолжение политики гегемонизма, тотального контроля и проекции силы чревато мировой войной, за которую никто не хочет брать единоличную ответственность. Альтернатива одна — демонтаж мирового постгуманистического (неолиберального) режима. Как провести этот демонтаж — вот вопрос, который стоит на повестке дня у политиков. И понять их можно: лучше отменить идеологию модерна «сверху», чем ждать, пока ее отменит «снизу» кто-нибудь вроде восточных радикалов или европейских неонацистов.

## Постсекулярность

**В**опрос об отношениях религиозности и секулярности когда-то казался решенным. Но неожиданно он вновь обретает актуальность на исходе XX в. Речь идет как о «возвращении» религиозного, так и о переосмыслении секулярного. Неожиданно выясняется, что данные явления в реальных культурных процессах подчиняются иной логике, нежели в рамках научно-философского теоретизирования. В конце XX в. «просыпается» и активизируется глубинная религиозная семантика культуры, ранее как бы дремавшая под «слоем» рафинированной рациональности. В то же время становится очевиден и процесс частичной секуляризации религиозных явлений. Принимая во внимание эти встречные процессы, давно известный предмет приходится переосмысливать. Причем его обсуждение происходит уже на новых основаниях, за рамками привычной для XIX—XX вв. логики взаимоисключения. Главное изменение: религиозность и секулярность перестают быть дихотомией.

Американские богословы-телепроповедники, польский политический католицизм, нью-эйдж, психологизация религиозного дискурса — все это дает богатый материал для изучения в рамках постсекулярных исследований. Отдельный интерес представляет психологизация религии, в резуль-

тате которой к религии обращаются, чтобы «познать себя», «найти путь к себе» или примириться с миром. Не менее интересен (хотя и не внушает оптимизма) феномен коньюмеризации религии — когда религиозные институты вынуждены вести себя как институты капиталистического общества, превращаясь в сферу «религиозных услуг». В этом случае начинают благословлять однополые союзы, вводить идеологическую цензуру, отказываться от «тоталитарного понятия греха», «тезиса об исключительности Христа» и т. п.

Примерно с конца 1980-х понятие «постсекулярность» и производные от него заняли свое место в социальных науках. А сегодня самые разные явления культуры все чаще помещаются в постсекулярный (Post-Secular) контекст и рассматриваются с точки зрения новой проблематики. В числе прочего подвергаются обсуждению такие явления, как «имплицитная религия» (implicit religion, термин Э. Бейли), рационалистическая сакральность Нового времени («Нового времени не было» — тезис Бруно Латура), христианский мастер-дискурс (Джон Милбанк).

Возникает необходимость исторических ретроспекций. Еще не так давно можно было смело утверждать, что комплекс идей Просвещения если не вытеснил, то сильно потеснил религиозность в общественном сознании Запада. Но в последнее время часть научного сообщества склоняется к другой точке зрения: отношения «секулярного» и «религиозного» были сложнее. Даже 1793 г., ставший годом революции либеральной и антиклерикальной, не запустил процесс атеистической секуляризации.

Несмотря на радикальный антиклерикализм и наступление на права Церкви, французские революционеры считали атеизм безнравственной идеей и колебались между превращением католицизма в государственную религию и созданием новейшего культа «Верховного Существа».

Иными словами, секуляризация представляла собой отнюдь не однонаправленный процесс. Но характерно, что к таким выводам социальные науки пришли лишь к концу XX в., когда пошатнулись позиции классической теории секуляризации<sup>1</sup>. Именно этот момент — смену ракурса, смену точки обзора секулярно-религиозной проблематики — есть смысл считать началом теоретического осмысления постсекулярности. Разумеется, объект этого изучения существовал и раньше, но не был «вовремя замечен».

Так, авторы сборника «Религия и секулярность. Трансформации и перемещения религиозных дискурсов в Европе и Азии» считают, что постсекулярность открыл католический богослов Эугена Бизер, который еще в 1986 г. утверждал, что секуляризация миновала свой расцвет и начинает клониться к закату.

Сегодня постсекулярность становится все более привычным понятием в социологии, социальной философии, социальной антропологии, религиоведении, религиозной философии и теологии. Более того. Подобно тому как в конце прошлого

---

<sup>1</sup> См., например: *Синелина Ю. Ю.* Циклический характер процесса секуляризации в России (Социологический анализ: конец XVII — начало XXI века). Автореф. на соиск. уч. степ. к. с. н. М., 2009. С. 28, 37–39.



века французский философ Ж.-Ф. Лиотар говорил о «состоянии постмодерна»<sup>1</sup>, сегодня мы говорим о «состоянии постсекулярности». В рамках этого состояния мы наблюдаем кардинальную перестройку общественного сознания, переосмысление категорий «секулярное — религиозное» и «гражданское — сакральное».

Для человека, воспитанного на ценностях эпохи Просвещения, которым чужды «темные века» (dark ages) Средневековья и «традиционное общество», этот феномен исторического маятника достаточно парадоксален. Он не находит должного объяснения в привычной модернистской и постмодернистской системе понятий, но находит его в рамках концепции постсекулярности.

Так, например, говоря о постсекулярности, приходится констатировать «утрату рациональности» структурами модерна. Научно-критические компоненты коллективного сознания теряют позиции под ударами релятивизма в постмодернистский период (1960—1990-е) и в ситуации «постпостмодерна», когда начинается формироваться новый, постсекулярный культурный ландшафт.

По-видимому, данный эффект в значительной мере связан с тем, что рыночные институты глобальной экономики подорвали авторитет фундаментальной науки и разрушили в сознании обывателя научную картину мира. Порой этот процесс затрагивает даже ученых. Вот как публицист Дмитрий Данилов оценивает процесс утраты рационального на примере авторов знаменитого «Письма академиком» 2007 г.: «Письмо написано не столько уче-

<sup>1</sup> См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.

ными, сколько истово верующими людьми. Для них материализм, дарвинизм... не предметы критического анализа. Это предметы веры, истины в последней инстанции, не подлежащие сомнению и пересмотру. Любое посягательство на эти истины повергает жрецов от науки в священный трепет и гнев... Эти люди вовсе не радеют за науку, не боятся, что «наука погибнет». Они боятся, что в один прекрасный день наука окажется... просто наукой. Ни больше ни меньше»<sup>1</sup>.

Отдельного изучения требует роль формирующей психологии и формирующей социологии — дисциплин, которые обслуживают секулярные культуры позднего модерна и по этой причине занимают господствующее положение в социогуманитарной сфере. Первая корректирует индивидуальное поведение, вторая задает модели коллективного поведения *a posteriori* — посредством «объективных статистических данных». Формирующие технологии, занимающие важное место в этих дисциплинах, фактически служат современным аналогом инициации.

Когда в картине реальности среднестатистического социального субъекта ослабевает научно-критическая основа, на ее месте возникают пустоты, которые заполняются квазирелигиозным архаизированным содержанием (так называемым «диким мясом эпистемы»). Этот процесс можно сравнить с тем, что происходит в странах Ближнего Востока при искусственной смене умеренно религиозных

---

<sup>1</sup> Данилов Д. *Auto da fe academica*. «Письмо ученых» как квазирелигиозный феномен // Русская жизнь. 2007. 3 августа.

или светских режимов, — с всплеском радикального фундаментализма.

После смерти больших нарративов и разрушения интеллектуальных иерархий наступило время «малых нарративов», как о нем писали теоретики постмодернизма. Но в основе этих нарративов нередко оказываются феномены самого архаичного свойства — что и позволяет ряду исследователей охарактеризовать уже сам постмодернизм как «неоархаику»<sup>1</sup>. В рамках этой тенденции все чаще наблюдаются новые проявления религиозного фундаментализма, радикализация некоторых направлений ислама, приход к власти фундаменталистских движений, укрепление либерал-нацизма на месте обычного либерализма и другие формы так называемой неоархаики и «новой дикости». В связи с этим иногда отмечается, что «отсоединение религии — во многом под влиянием секуляризации — от культурной и национальной почвы приводит... к фундаментализму как религии, не опосредованной культурой»<sup>2</sup>. Иногда эти процессы характеризуются как «языческое неосредневековье» или «альтерсредневековье».

Еще один тип постсекулярных явлений наблюдается на периферии и в переходной зоне секулярной и церковно-религиозной сфер. Один из ярких примеров таких явлений — это либерал-православие,

---

<sup>1</sup> См., например: *Чушин-Русов А. Е.* Новый культурный ландшафт: постмодернизм или неоархаика // Вопросы философии. 1999. № 4. С. 24–41.

<sup>2</sup> *Узланер Д.* Россия — лаборатория постсекулярности // URL: <http://pstgu.ru/news/smi/2014/02/21/51260/> Дата обращения 26 марта 2018.

для которого характерно выражение секуляристских идей с помощью религиозных знаков и символов: например, доктрина «майданного богословия».

У некоторой части общества трансформируется представление о самой религии. Вследствие постсекулярных исследований этих процессов мы можем говорить о феномене «заместительной» или «викарной» (по сути дела секулярной) религиозности — когда миллионы людей отождествляют себя с религиозными институтами и практиками, хотя степень их воцерковленности может быть минимальна. Мы также знаем о неклассической религиозности и влиянии парарелигиозных учений и структур, таких как «церковь сайентологии».

Впрочем (и к счастью), умеренные и аутентичные христианские тенденции в широком спектре постсекулярных явлений также имеют место. Например, можно указать на движение «радикальной ортодоксии» в современной теологии и теологической философии, а также на некоторые стороны деятельности русских социал-традиционалистов<sup>1</sup>.

Дискуссии вокруг постсекулярности в последнее время набирают силу и в России. В начале 2014 г. начал выходить научный журнал «State, Religion and Church». Контент издания позволяет сделать вывод: концептология постсекулярности стремительно входит в русский социогуманитарный контекст.

Особенностью российского освоения постсекулярной проблематики является доминирование ее либерально-секуляристской трактовки, когда размывается грань между постсекулярностью как общим явлением и ее частным случаем — десекуля-

---

<sup>1</sup> См.: *Щипков А. В.* Социал-традиция. М., 2017.

ризацияй. Как известно, термин «десекуляризация» принадлежит американскому социологу Питеру Бергеру, редактору вышедшей в 1999 г. книги «Десекуляризация мира», которая содержала тезис, превращенный научной средой в мем: «Современный мир столь же яростно религиозен, каким был всегда». С тех пор, однако, постсекулярные тенденции давно вышли за рамки простого «возвращения религии» в социальную жизнь Запада (а вне Запада, заметим, религия из нее никуда и не «уходила»). Сегодня уже куда более актуальным представляется переосмысление самой границы и природы религиозного и секулярного, к которому нас подталкивает множество социальных и культурных явлений.

Либеральная точка зрения, представленная, в частности, в работах немецкого философа Юргена Хабермаса, склонна максимально сблизить границы понятий «десекуляризация» и «постсекулярность», пытаясь, насколько возможно, сводить второе явление к первому — по существу, к проблеме религиозно-секулярного диалога. Между тем, трансформация обеих традиций зашла так далеко, что создает проблему их демаркации.

На другом полюсе методологических подходов в постсекулярных исследованиях располагается концепция «радикальной ортодоксии», представленная Джоном Милбанком, Джоном Грэмом, Кэтрин Пиксток и их последователями. С точки зрения этих исследователей, общество стоит перед проблемой исчерпанности «имманентистской», то есть секуляристской культурной парадигмы. Выход из этой ситуации они видят в возвращении к христианскому универсализму — так называемому «мастер-дис-

курсу», усеченной и выхолощенной («еретической») версией которого является секуляристское мировоззрение. Христианский мастер-дискурс, по мнению радикальных ортодоксов, должен сформировать «метанарратив будущей культуры».

Сегодня уже очевидно, что общество переживает квазирелигиозную трансформацию. Следующий этап, который нам предстоит пережить, — это интеграция множественных квазирелигиозных содержаний в единое целое, в новое когнитивное пространство.

## Светское государство

Секулярность долгое время было принято считать синонимом «нерелигиозности». При этом мало кого смущал негативный, апофатический характер такого определения. В самом деле, какое, собственно говоря, позитивное определение можно дать светскости — без приставки «не» и без привлечения синонимов, ничего не проясняющих, но загоняющих попытку определения в ситуацию логического круга?

Попробуем подойти к ответу на этот вопрос.

1. *Секулярность не монолитна.* На деле существует множество идейно не схожих секулярностей, как и множество религий. Поэтому говорить по старинке о «секулярности вообще» так же странно, как говорить о «религиозности вообще».

2. *Секулярность идеологична.* Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что понятие светскости-секулярности — идеологическое. Отсюда и термин «секуляризм» («секуляристский»), обозначающий радикальный и авторитарный вариант секулярности. Отсюда и знаменитый совет избегать «вульгарного примитивного понимания светскости» как антирелигиозности, который дал В. В. Путин в 2013 г.

3. *Секулярность не антирелигиозна.* Отделение церкви от государства — важный принцип светско-

сти, но он не означает отделения религии от государства в большей степени, чем отделение атеизма или агностицизма. Иначе было бы непонятно, почему атеизм или позитивизм в школе и в парламенте уместны, а религиозность — нет.

4. *Секулярность* (как и религиозность) *не может быть критерием социальной или культурной «полноценности»*. Понятие «секулярность» долгое время было сцеплено с классической дихотомией «современное — традиционное». Но как показывает наблюдение, современному обществу свойственен скорее комбинированный сценарий развития, когда новые социальные явления и институты не вытесняют, а наслаиваются на предыдущие. Поэтому в социальных науках происходит отказ от вышеупомянутого жесткого разделения истории на время «традиционного общества» и время «общества модерна».

5. *Секулярность* (как и религиозность) *мифологична*. Сегодня вполне очевидно, что между светским и религиозным гораздо меньше кардинальных, глубинных различий, чем казалось прежде. Более того. Если дать какому-то варианту светскости превратиться в завершенную идеологическую систему, в ней, как во всякой идеологии, легко будет отыскать квазирелигиозные основания. Например, современный позитивизм и эволюционизм имеют собственную «священную историю»: это концепция социального Прогресса, понимаемого как освобождение от догматизма и косности.

Иными словами, мы сегодня имеем дело с открытием и осознанием мифорелигиозных оснований светскости-секулярности. До недавнего времени об



этом было не принято говорить. Но сегодня не говорить уже нельзя.

Феномен неочевидности, условности границ религиозного и секулярного ученые анализируют в рамках проблематики постсекулярности. Они отмечают, что современные формы секулярного позитивизма порождают все больше иррациональных и гибридных понятий, формализация которых затруднена. Без прояснения данной проблематики невозможно построить сколько-нибудь удовлетворительное социологическое описание современного общества и упорядочить отношения различных по образу жизни социальных групп, избежав конфликтов между ними.

К сожалению, некоторые сегодняшние определения светскости грешат либо логической некорректностью, либо дискриминацией представителей традиционных и классических религий.

К первому случаю относится, например, следующее распространенное определение: «Светское государство... регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм; решения государственных органов не могут иметь религиозного обоснования». Очевидно, что сравниваются несравнимые категории: «белое с горячим». Гражданских, а не церковных — было бы более понятно. Ведь что такое гражданские нормы? Это нормы, близкие большей части общества. Но таковыми могут быть любые нормы, включая религиозные. Разве католические убеждения не играли важной роли в идеологии польской «Солидарности»? Протестантизм — во взглядах электората Дональда Трампа? Иудаизм — в изра-

ильском обществе? Конфуцианство — в Китае? Разве исламскую революцию в Иране делало не гражданское общество? Иными словами, противопоставление по линии «гражданское — религиозное» абсолютно некорректно. Это либо логическая ошибка, либо заведомый обман.

Второй случай — это наследие той самой, по словам В. В. Путина, вульгарной трактовки светскости, для которой религия — это просто архаичная, несовершенная система знания, которая якобы «преодолена» наукой. Данная точка зрения давно устарела. От «единого научного мировоззрения» мир отказался в период падения коммунизма. Как известно, полная формализация системы знания невозможна, она будет либо противоречивой, либо неполной. Сегодня даже внутри самой науки нет единой сложившейся картины мира, единого мировоззрения, научно-методологические споры продолжаются, в том числе о самих принципах научности. Неудивительно, что и границы самих феноменов религиозности и светскости научно не определены.

Будем откровенны: в понимании светскости огромную роль играл исторический фактор — первоначальный импульс антирелигиозности, отрицания религии. Но сегодня это не работает. Дискриминация традиционной (классической) религиозности, характерная для XX в., — это дань определенной, причем довольно трагической эпохе.

Светское государство должно быть равноудалено от разных мировоззрений, поскольку любой другой подход означал бы дискриминацию одних мировоз-

зрений и привилегию для других. Если, например, строго придерживаться принципа равноудаленности, то «светскость» не будет иметь ничего общего ни с религиозностью (классической и неклассической), ни с атеизмом, ни с различными позитивистскими, этноцентрическими и прочими учениями. По всей видимости, такое государство окажется на позициях агностицизма: «Я знаю, что я ничего не знаю».

Правда, при этом государство все равно будет вынуждено считаться с традициями данного общества, какими бы они ни были, поскольку традиция значительно облегчает общественное строительство и управление. Это значит, в частности, что в мире могут существовать «более атеистические» и «более религиозные» государства, хотя крен в ту или иную сторону будет сглажен на уровне государственного управления. При этом и те, и другие государства должны считаться светскими.

Резюмируя сказанное, я бы дал следующее определение современного светского государства: *«Это государство, чьи нормы и идеалы определяются независимо от отношения к религии, идеологии или иной системе знания, но исходя из их исторической роли в жизни конкретного народа»*. То есть в соответствии с демократическим принципом большинства, перенесенным в историческую перспективу.

Последнее и, может быть, самое важное. Разбираться со сложным понятием светскости на одном только экспертном уровне недостаточно. И даже недопустимо. Обсуждать проблематику и концептуальные основания светскости необходи-

## Вопросы идеологии

---

мо всему обществу — ведь решается наша судьба, судьба одного из краеугольных камней нашей коллективной идентичности. И условием такого обсуждения является честное и открытое решение вопроса об общепринятой идеологии — есть она или ее нет. Только после этого можно будет перейти к проблеме светского — религиозного.

## Либерал-православие

**В**околоцерковных кругах во второй половине XX в. начала формироваться особая социально-политическая субкультура — либерал-православие. Сегодня, как и тогда, разговор с православными приверженцами либеральных ценностей у «большой» Церкви не складывается. Это свидетельствует не только о столкновении взглядов, но и о серьезной проблеме с коммуникацией. Причина — накопление взаимных претензий. Речь идет всякий раз о том, кто виноват в этом взаимном недовольстве. О том, кто «ищет врагов».

\*\*\*

Надо оговориться: серьезное напряжение в отношениях между группой православных либералов и широкими церковными массами возникло во втором десятилетии XXI в. Оно совпало с началом масштабного информационного давления на РПЦ, развернутого в СМИ после объявления о начале московской «Программы-200» по строительству модульных храмов, введения Основ православной культуры и принятия реституционных актов осенью 2010 г. Все это, усугубленное грядущими думскими и президентскими выборами, и вылилось в мощную антицерковную кампанию.

Публичные оскорбления православных в эфире стали нормой. Окружение одного из кандидатов в президенты уже прямым текстом заявляло о необходимости борьбы с церковным влиянием в обществе — как всегда, эта цель маскировалась «отделением церкви от государства».

Был сформулирован и предложен стране заказ на глобальную реконструкцию ряда общественных норм и институтов. Все это обозначили крайне размытым термином «модернизация». Согласно авторам проекта, это игра в социальные и технические догонялки с «цивилизованными странами», которая при сохранении ущербного олигархического строя и сырьевого вектора экономики заранее обречена. «Модернизация» началась с социальных программ: мы видим, что общество пытаются поставить под жесткий контроль введением ювенальной юстиции, расслоить при помощи платных образования и медицины, секвестировать образовательные стандарты, уменьшить количество вузов, сломать пенсионную систему. При этом надо понимать, что либералы «во власти» и либералы «несистемной оппозиции» существуют в одной идеологической парадигме.

Естественно, Церковь в этой ситуации попала под подозрение, как это уже было и сто лет назад: «Она неблагонадежна!» Церковь представляется «архитекторам модернизации» одним из самых немодернизируемых институтов. Ее требовалось либо приручить и использовать, либо убрать с дороги. Попробовали приспособить к делу.

Несистемные предложили священноначалию отдать свой голос в пользу передвижных уличных май-

данов — даром, что их рядовые участники и вожди, торгующиеся с властью, приходили на Болотную с разными ожиданиями и требованиями. А главное — намерениями. А уж сколько открытых писем было написано в это время патриарху, сразу и не вспомнить. Из них можно составить отдельную архивную папку.

Разумеется, Церковь на баррикады не пошла. И не только потому, что это противоречит ее особой миссии в обществе, но и потому, что баррикады были вполне бутафорскими.

Церковь сохранила нейтралитет. Но лозунг «модернизаторов» был и остается прежним: кто не с нами, тот против нас. И они начали бить на поражение.

\*\*\*

Именно в этот «удачный» момент либерал-интеллигенция выдвинула Церкви множество странных и страстных упреков, главные из которых — несовременность и авторитарность. Они говорят, что Русская Православная Церковь фактически является единственной крупной и влиятельной христианской церковью в мире, чуждой принципам демократии и прав человека.

Вместо прежней Церкви им нужна такая, которая была бы продолжением светских общественных институтов. А ее духовность должна стать продолжением «плюралистической» (на деле часто авторитарной) светской морали. В этой версии христианство призвано лишь подтверждать чужой выбор. И обязано заменить свой теоцентризм («я в системе Божьего мира») на нечто совсем иное — «Бог в моем

внутреннем мире». Такой карманный «бог в душе», разумеется, ни к чему всерьез не обязывает.

Либерал-православная группа активна и не отступает. В унисон с антицерковной кампанией, развернутой либералами-антихристианами, она предъявляет Церкви требования во все более ультимативном тоне. Например, под самые выборы активизировали критику так называемого «сергианства». Этот термин был неимоверно раздут и распространен как на нынешнюю церковь, так и на синодальную. Расчет строился на том, что если Сергия Страгородского удастся представить исторически некондиционной фигурой, «ненастоящим» патриархом, то и легитимность современной РПЦ окажется под вопросом. А точнее, под ударом. Игры и эксперименты такого рода, как минимум, безответственны, особенно во время внешнего давления на Церковь.

А уж когда власти отреагировали на провокацию, устроенную акционистками группы PR, либерал-православные заняли абсолютно светскую позицию, выдвинув ряд требований властям: мол, «художнику все можно, отпустите их, изверги, сатрапы». А когда единоверцы их не поддержали, нервные либерал-православные восплакали о том, что, мол, «Церкви больше нет», «наш дом обезлюдел». И пугнули: «Мы можем уйти».

Все это было обставлено как «исход интеллигенции из церкви». Когда не удалось «научить уму-разуму» церковное сообщество, эти люди предпочли обидеться. Понятно, что бежать и хватать их за фалды никто не стал: сами уйдут, сами и вернуться. Если захотят. Но неверную модель поведения нель-



зя так просто взять и сломать: пятилетний ребенок, если его игнорировать, не сразу перестанет биться в истерике. Так и с церковной либеральной ойкуменой. Но только масштаб и цена такой истерики гораздо выше.

И вот уже некоторые представители указанного лагеря откровенно нагнетают ситуацию, говоря о том, что Церковь утрачивает влияние (среди кого?). И даже о «неизбежном расколе в Церкви» — тем самым фактически призывая и подталкивая к такому расколу.

\*\*\*

У «большой» Церкви не возникло желания начать охоту на ведьм. Хотя любые критические замечания часто воспринимались противоположной стороной именно так.

Но терпимость терпимостью, а прямой разговор до сих пор так и не состоялся. Хотя сегодня он нужен как никогда. Сама постановка вопроса: совместимы ли православие и либерализм, была бы несколько схоластической, если бы адепты либерал-православия постоянно не противопоставляли два своих равно любимых базиса: духовный и идейный. Следовательно, разговор необходим. Меньше всего хотелось бы вести такой разговор в режиме конфронтации и взаимных обвинений.

Государство проводит либеральный курс. Чиновничий произвол ничуть этому курсу не противоречит, скорее, наоборот. Либерализм может быть и часто бывает авторитарным. Например, на словах наша власть не против православия. Но при этом либералы во власти на всех уровнях мешают стро-

ить храмы, изучать в школе ОПК, тормозят введение института капелланов в армии. А главное, как могут, натравливают СМИ на Церковь и православных верующих.

А что делать православным? Ждать, пока Церковь разрушат? Если это произойдет, то не как-нибудь, а при поддержке внутрицерковных либералов, одни из которых до крайности наивны, а другие циничны до безобразия.

Как же так? — отвечают нам. В вашей позиции мы чувствуем угрозу. Мы-то ведь всегда считали, еще с 70-х годов прошлого века, и продолжаем с гордостью считать, что принадлежим к внутрицерковным либералам, защитникам религиозной свободы. А врагами Церкви всегда были и остаются большевики.

Увы, это устаревшая формула.

История не стоит на месте. Мы же хорошо знаем, как бывшие американские троцкисты вроде Пола Вулфовица превратились в записных неоконнов. И это на протяжении всего одного поколения! Что же говорить, когда поколений больше одного? Сегодня с Церковью воюют не комиссары в пыльных шлемах, а их, на первый взгляд, «толерантные» оппоненты и... последователи.

Ошибка православных заключается в том, что мы смотрим на современную ситуацию глазами нашей молодости. По привычке делим мир на нас (православных) и большевиков-гонителей. Но ведь большевики были гонителями православия не из каких-нибудь политэкономических соображений, а потому что партийный контингент состоял из богборцев. Которым в других обстоятельствах дове-

лось бы быть не большевиками, а скажем, эсерами или анархистами. Они шли в революцию, для того чтобы сломать православную парадигму. История так распорядилась, что сделали они это под большевистским флагом. Флаг мог быть другим. Первичны всегда глубинные мировоззренческие позиции, а не сиюминутные политические.

Сегодняшние светские либералы в большинстве своем не принимают Христа. Они борются с Ним. А значит, и с нами как членами Церкви Христовой. Это главное. Богоборцы в России сохранились (и всегда будут существовать), но за сто прошедших лет у них поменялись политические взгляды. Теперь они за «рынок» (преимущественно финансовый и сырьевой), за ВТО, за секвестр образования, пенсий, семейных ценностей — всего на свете. Даже мы с вами для них всего лишь «непрофильный актив». Но для нас важны не политические позиции, а религиозные. Так вот, по глубинной сути нынешние либералы — продолжатели богоборческого вектора большевиков.

Но то либералы светские. Церковные либералы — явление иного порядка. Все они — обычные верующие, люди с традиционным православным сознанием. Но их политические взгляды совпадают с политическими взглядами светских богоборческих либералов. И тут церковные либералы попадают в ловушку: они пытаются оправдать все, что делают светские, пытаются найти в их действиях что-то светлое и позитивное. Глубинного противоречия они не ощущают. А ведь это так просто.

Нельзя быть одновременно верующим в вопросах метафизики и морали и социал-дарвинистом

(выступая за «свободную» конкуренцию, то есть естественный отбор в обществе) в вопросах социальных. Невозможно иметь две морали на разные случаи жизни — религиозную и политическую.

Политическое горение часто вытесняет в человеке горение религиозное, и возникает путаница в сознании. Просто нужно суметь в себе это разделить. Ибо сказано: «Не мир я принес вам, но меч». Это не о том мече, который вложил в ножны апостол Петр. А о том, который отделяет подлинное от шелухи и зерна от плевел.

Есть у церковных либералов еще одна черта, которую трудно не заметить. Иногда она прямо бросается в глаза. Они очень часто стыдятся своей Церкви. Осуждают ее не за реальные грехи реальных личностей или не только за них. А так, в целом. За то, что «несовременная», «замшелая», «не соответствует» требованиям времени. Не станем продлевать список — здесь может быть очень много разных «не». Лишь замечу, что время само по себе не выдвигает никаких требований, что «дух времени» делают люди, их ежедневный выбор. А люди могут быть разными. Тогда как метафизика современности (назовем так вышеназванную позицию) — просто типичное, и по-своему милое суеверие людей рационального склада. Такая разновидность стыда — не за себя, а за других, которые что-то должны «времени», как и ощущение себя в статусе доверенного лица современности — это в чем-то очень детские умонастроения. Дело только в том, что умонастроения эти исторически свойственны немалой части российской интеллигенции.

Вместо гражданского долга ими овладевает гражданский стыд.

Стыд может быть только личным — за свои поступки, а не за несоответствие чьих-то мнений. Митрополит Антоний Сурожский неоднократно касался этого вопроса. Он говорил: я принадлежу к поколению, которое избрало верность Русской Православной Церкви Московского Патриархата в момент ее гонения. В момент, когда быть верным Московскому Патриархату в эмиграции считалось неприличным, едва ли не политической изменой. Именно поэтому митрополит Антоний не мог позволить себе уйти под другую юрисдикцию. Он чувствовал себя частью Церкви, и как бы плохо ей ни было, этой частью оставался. Антонию не было стыдно за своих единоверцев. Обидно — могло быть, но эта боль души требует не осуждения, а помощи. Точно так же благодарные дети не стыдятся своих родителей, а помогают им в беде. Именно это качество берегут в себе русские церковные люди. Даже позор по причине неблагоприятных поступков клириков они готовы разделить и пережить. А уж вопрос об императивах современности, о требованиях светского общества и вовсе не может быть причиной стыда. Как сказал кто-то из классиков, прогресс синоминутен, он сам себя отрицает. Его требования меняются как перчатки. Церковь же говорит о вечном — в этом ее основание. Быть министерством по духовным делам она, разумеется, не должна и не может. Движение в эту сторону наблюдалось в синодальный период — и опыт оказался не слишком удовлетворительным. Стыд очень важное и нужное чувство для христианина — но когда он возникает по отношению к себе.

Однако либерализм требует все время предъявлять Церкви требования не изнутри, а со стороны. Соблюсти идейный и политический дресс-код, уступить политкорректности и прочим «правилам хорошего тона». Поскольку эти настойчивые требования невыполнимы (да и попросту не по адресу), либерал мучительно краснеет и терзается. Он не знает, как ему совместить свою совесть и критерии гражданского вкуса. Он готов верить и искренне верит. Но чтобы вера была, так сказать, от кутюр — с томиком Улицкой в руках. И он верит несмотря ни на что — и испытывает вечное внутреннее раздвоение. Неготовность разделить с Церковью поношение — это, конечно, серьезная трагедия для души христианина. Но таков уж исторический код русской интеллигенции. Об этом ложном стыде не раз говорил Достоевский. Например, описывая людей, подобных Степану Верховенскому, который полюбил «гражданскую роль» и жил «воплощенной укоризной» отчизне. Этим людям трудно преодолеть раздвоенность, но рано или поздно они делают свой выбор между религиозным и политическим. Выбор этот на самом-то деле прост. Ведь Христос сказал: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца и святых Ангелов» (Лк. 9.23–27).

## Сакральная география

**О**дин из литературных памятников Древней Руси называется «Слово о погибели Русской земли». Почему понятие «земля» занимает такое важное место в языке в нашу совсем даже не аграрную эпоху?

Дело в том, что «земля» — это не только материальный ресурс и территория. Это огромный сосуд, вмещающий в себя бесценный культурный опыт поколений. Для России данный факт особенно важен. Ведь наш коллективизм и общинное сознание как нельзя лучше соответствуют понятию «дух и почва». Понятию, далекому от таких, как «кровь и почва» или «беспочвенность» крайностей, которые в наше время все чаще сходятся и угрожают гибелью русской земле.

\*\*\*

Дух и почва позволяют людям сообща растить свой сад во имя лучших целей. До последнего времени мы редко вспоминали об этом. Но в 2014 году нам повезло. Херсонес, сакральная точка русской культуры, вернулся в Россию вместе с Крымом и его жителями. Это был момент национального пробуждения и какого-то нового, а точнее, хорошо забытого старого трепетного отношения к родной земле.

Национальное чувство обрело новые краски, по всей России люди начали легко узнавать «своих» и больше доверять друг другу. Сработали механизмы регенерации национальной идентичности. Огромную роль в этом процессе сыграла наша сакральная география, которая Херсонесом только открывается.

Нас объединила святыня. Не книжная, а настоящая, овеванная теплым ветром Истории. В Кремле были предприняты приличествующие историческому моменту шаги. Глава государства дал распоряжение обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Но, к сожалению, крымский импульс пока во многом остается локальным. Да, это была незабываемая встреча и с собственной историей, и с разлученной частью народа, но ведь Херсонесом наша сакральная география не исчерпывается. Разве мы можем забыть о Михайловском, о Бородинском поле, Мамаевом Кургане, Ганиной яме, Исаакиевском соборе, Чудовом монастыре? И, конечно, о Соловках.

Каркас национальной идентичности представляет собой огромный географический «пояс». Важно, чтобы все его звенья были прочно сцеплены между собой и ни одно не выпадало.

Возьмем Соловки. Двадцать лет назад Соловецкий музей-заповедник был включен в Государственный свод особо ценных объектов российского культурного наследия. Монастырь предстояло восстановить, а всему Соловецкому архипелагу вернуть его изначальный смысл, сохранив уважение ко всем историческим событиям от XV до XX в., которые были связаны с этой землей. Что было дальше? Костры, па-



латки, фестивали бардовской песни, рок-форумы, строительство дач, охота-рыбалка, научные конференции со скрытой антироссийской идеологией, проекты Сороса по превращению Соловков в курорт и проекты неведомо кого по устройению здесь «северного Казантипа». Ну и, разумеется, подлое натравливание музейщиков на монахов... Десакрализация Соловков велась профессионально, методично, и Церкви было очень непросто противостоять этому шабашу.

25 июня 2012 г. В. В. Путин подписал поручение Президента Российской Федерации № Пр-1625, в котором было прямо указано на необходимость «разработки и реализации комплекса организационных, финансовых и иных необходимых мер по сохранению и развитию Соловецкого архипелага с четким определением ответственных исполнителей и сроков реализации, сбалансированных по объемам и источникам финансирования с включением в соответствующую государственную программу Российской Федерации».

Совместно с Русской Православной Церковью началась разработка Стратегии развития Соловецкого архипелага как уникального объекта духовного, историко-культурного и природного наследия.

Минуло два года. В 2014 г. Правительство РФ утвердило комплекс *организационных* мер по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Еще через еще два года, в 2016 г. Правительство РФ приняло распоряжение № 163-р, в котором был утвержден перечень конкретных *мероприятий* по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Речь идет о строительстве причала, реконструк-

ции соловецкого аэродрома, восстановлении дорог, электроснабжения и прочей инфраструктуры жизнеобеспечения поселка и монастыря.

Прошло четыре года. Решение задач разбросано по разным ведомствам, единого координационного центра нет и не предвидится. Работа буксует.

А плюс ко всему — евробюрократические рогадки вездесущей ЮНЕСКО, с которой мы обязаны согласовывать каждый шаг. И эти согласования «случайно» затягиваются на годы. При всей важности правил этой уважаемой организации Россия в решении национальных проблем должна все же идти по пути приоритета национальной юрисдикции.

Аналогично обстоят дела с Валаамом. По свидетельству местных жителей и сторонних наблюдателей, территория вокруг Валаама уже давно превратилась в проходной двор. К окрестным островам то и дело причаливают моторки, с бортов которых слышится нетрезвая смесь русско-финской речи. «Дикие туристы, большое количество судов, которые в любом месте могут пристать, это нарушает духовную и культурную среду. Невозможно представить себе нечто подобное на Афоне», — когда-то сказал об этой ситуации Святейший Патриарх Кирилл.

Чтобы жить полной жизнью, святыня должна находиться в исторически органичной для нее среде и выполнять исторически характерные для нее функции, а не превращаться в большой законсервированный сувенир для туристов. Метакультурное пространство должно «дышать» историей — оставаться тем, чем оно было изначально.

Вот ведь и Исаакиевский собор — не просто башня для обозрения окрестностей. В течение многих

лет это был главный собор Российской империи, немислимо низводить его только до городского туристического объекта.

«Верной твердынею православья / Врезан Исакий в вышине», — сказал про этот храм великий Николай Гумилев. Мощно сказал, словно высек на камне нам в назидание. Перечитаешь эти строки и понимаешь, что наступит день, когда и эта святыня вернется на свое смысловое место. В ответ поэту какие-то люди с мелкими мыслями, ерничая и кривляясь, вытаскивают сегодня из запасников маятник Фуко и инсталлируют его в центре храма, указывая на свои мировоззренческие корни и на свои будущие планы продолжать десакрализацию Исаакия.

Физическое состояние культурного объекта не влияет на его сакральную значимость: равно важны и блистательный Исаакиевский собор, и Чудов монастырь, которого в данный момент нет, но который обязательно восстановим. Наше гражданское служение и любовь к национальной культуре требуют всемерных усилий по восстановлению этого бесценного фонда.

\*\*\*

В. В. Путин, которого порой упрекают в эконо-  
микоцентризме, сегодня зримо все больше внимания  
уделяет метакультурному аспекту жизни общества,  
ценностной системе национальной исторической  
памяти. Эта тенденция в ближайшее время сохра-  
нится и окрепнет. Политическое решение, принятое  
в рамках проблемы Крыма, разумеется, не ограни-  
чивается этими рамками.

Шаги по сохранению памятников — абсолютно закономерны. Но зададимся вопросом: почему вообще проблемы такого рода культурных объектов приобретают государственное значение?

Дело в том, что в условиях кризиса глобального проекта и разделения общего культурно-экономического пространства на территориально-валютные зоны и союзы политика государств в большей степени опирается на базовые элементы национальной идентичности. В том числе и в России. Это объективный процесс, и проблема заключается сегодня в следующем: кто быстрее движется по этому пути, тот выходит из кризиса с наименьшими потерями и приобретает максимум преимуществ в рамках нового миропорядка.

По этой причине Путин конвертирует культурные и исторические ценности в конкретную политическую стратегию, в социально-политическое строительство завтрашнего дня. Этот тренд возник сравнительно недавно, но он укрепляется, и работа государственных институтов исполнительной власти неизбежно будет ему подчинена. Это вопрос времени. Способность (или неспособность) ориентироваться в новых реалиях служит показателем реальной эффективности сегодняшних управленческих структур. Собственно говоря, это вопрос понимания внутренних задач.

Стратегическая цель президента, который отвечает за единство страны, заключается в том, чтобы укрепить ее духовную географию, поскольку этот сакральный каркас скрепляет нацию. Никакая национальная идея не может существовать в воздухе,

не опираясь на те или иные символические и исторические вехи.

Политические усилия, предпринимаемые сверху, должны иметь мощную поддержку снизу. Мы видим, что эти усилия еще не привели к качественному сдвигу в ситуации, но сдвиг должен произойти в ближайшее время. Вопрос, как это всегда бывает в нашей стране, в исполнителях. Чиновники (от муниципальных до правительственных) страшатся больших государственных задач. Это особый уровень ответственности. Он требует серьезных компетенций, системной финансовой политики и создания единого ответственного центра управления каждым большим проектом. В данном случае доверие начальства придется заслужить, а не гасить каждый раз просроченный кредит доверия новым кредитом.

У чиновников, доставшихся России от эпохи 1990-х, слишком узкий проблемный горизонт. Они видят жизнь страны как бесконечную серию мелких проектов. Эти проекты обслуживают эксперты, под них даются гранты, а на выходе — шоры на глазах. Мы, конечно, не хотим сказать, что чиновники, любящие за рюмкой именовать себя не иначе как «государевыми людьми», сознательно саботируют выполнение задач по национальному возрождению. Это не так. Однако, остаточное «проектное» мышление им вредит, тормозит процесс. Каждый что-то делает на вверенном ему участке, но в целом не наблюдается должной координации.

Переход к стратегическому мышлению и политике развития неизбежен, он уже начался и самые внимательные это уже поняли. Время поставило

перед Россией выбор: или страна и народ приступают к решению большой исторической задачи, или процессы энтропии берут свое, и Россия сползает к украинскому сценарию. Поэтому тренд ближайшего будущего — реконструкция всего здания национальной традиции. Политику реализуем в практике. Интеллектуальных интуиций уже недостаточно. Сегодня понять — значит исполнить.

\*\*\*

В жизни каждого человека есть свои сакральные места. Ты вырос и уехал из родного города, но тебя тянет на родину. Вдруг жгуче захочется все бросить, приехать и пройтись пешком по знакомым местам, взглянуть на свой бывший, но родной дом со стороны. Увидеть, как вечером светятся окна в той квартире, где ты жил в детстве. Там теперь другие люди, они ничего о тебе не знают, там другие занавески и цветы на подоконнике. Но память возвращает тебя в твою старую комнату, и ты помнишь каждое пятнышко на обоях, и в душе что-то непременно шевельнется в ответ на неожиданные воспоминания.

Тебе хочется медленно пройти по улице, на которой стоит твоя школа — свежевыкрашенная, но все равно узнаваемая. Или по каналам, где ты гулял и целовался с девушкой. Или ты вспоминаешь городок, в котором проводил счастливейшие дни детства — там старые липы и пыль, река, выбрасывавшая в весенний разлив простреленные русские каски и ржавые немецкие штык-ножи, желтые шлакоблочные домики и летящие вровень с кровлями тоненькие паутинки. А для кого-то самое важное

место — кладбище, на котором похоронены мама и папа...

Такие места есть у всех. Что они такое? И почему при приближении к ним норовят нахлынуть воспоминания и знакомые чувства, с которыми мы мину-ту-другую, бывает, не можем справиться.

Древние считали, что ведаёт такими местами *genius loci* — гений места, связывающий силы нашей души с этой неприметной точкой. Даже если мы далеко или долго отсутствовали и при возвращении нас не узнают, как это было с Одиссеем, которого обляял его собственный пес. Философ назовет эти места экзистенциально значимыми пространственными локусами. Но можно сказать проще: все это сакральная география души. Она есть у каждого, в этом простом факте как-то не принято сомневаться.

Есть сакральная география и у народов. Без нее коллективное народное «я» мыкалось бы в глубинах собственной памяти незрячим котенком. Тяга к сакральным местам, или, говоря наукообразно, к метакультурным объектам национальной географии — и есть внутренний взор народа. Сакральная география вместе с великими событиями прошлого образуют культурно-исторический хронотоп (отсылаю к Ухтомскому и Бахтину), то есть внутренне неразрывное «время-пространство», обеспечивающее народу безошибочную ориентацию и движение в потоке истории.

Метакультурное пространство России — это места, важные с культурно-исторической точки зрения, с которыми связаны те или иные дорогие сердцу русского человека ассоциации, места ду-

ховных, исторических и военных подвигов народа. Важнейшие точки сакральной географии проходят как по центру, так и по окраинам страны — во втором случае это защитный барьер, «сторожевые башни» национальных культурных интересов. Они есть в Москве и Петербурге, Оренбурге и Владивостоке, Калининграде, и в Севастополе. Не забудем, что Севастополь — важный элемент российской культурной географии, в каком-то смысле южная ипостась Петербурга. Каждому необходимо уметь правильно считывать смыслы с культурной карты.

И снова о Херсонесе. В. В. Путин назвал Херсонес местом, имеющим «огромное цивилизационное и сакральное значение». «Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь», — сказал президент.

Действительно, Херсонес занимает в русской картине мира важнейшее место. Оно было явно недооценено: в советское время по идеологическим причинам, в постсоветское — из-за того, что Крым оказался заложником чужой культуры. Но Херсонес — это ворота России в историческую Византию. Здесь князь Владимир, как говорят историки, прошел «точку бифуркации», историческую развилку. Кстати, весь путь князя Владимира, если брать в расчет его сакральные «пункты», — это Новгород — Киев — Херсонес и обратно. Вот вам и один из маршрутов сакральной географии.

Если эти сакральные места, эти метакультурные точки стираются из коллективной памяти, народ пе-



рестает узнавать себя и начинает исчезать. Процесс стирания часто запускается и поддерживается искусственно. Например, если бы нам удалось настоять на том, чтобы памятник князю Владимиру, который ввел Древнюю Русь в христианский мир, был установлен на Воробьевых горах, возникло бы новое сакральное место, важнейший метакультурный объект: это был бы Владимир-просветитель. А на Боровицкой площади, возле огромной сакральной значимости Кремля, памятник князю Владимиру, увы, не сможет выполнить столь необходимую функцию...

Борьба с культурной памятью народа порой выражается в опошлении и девальвации символического ресурса культуры, например, строительстве коттеджей возле Михайловского или на Бородинском поле.

Так стирают культурную память. Так разрушают сакральную географию, а с ней и национальную идентичность.

Но вместе с тем в российском обществе сегодня происходит раскручивание спирали пассионарности, которому дало начало воссоединение двух разделенных частей русского народа в результате возвращения Крыма. Чтобы этот процесс продолжался, правящим группам необходимо осуществлять политику с позиций традиционных ценностей и интересов национальной общности. Тогда есть шанс преодолеть кризис в стране, консолидировать элиту и общество, которые сегодня стоят на разных мировоззренческих основаниях, и достойно ответить на исторические вызовы. Поэтому в интересах национальной традиции необходимо изъ-

ятие элементов ложной идентичности из знакового пространства русской культуры и восстановление аутентичных моделей культурной динамики. Для решения этой проблемы нужно обладать умением правильно читать культурно-географический текст русской истории.

Условием российского национального суверенитета, вне всякого сомнения, является общественное строительство с общей аксиологией и общим, хотя и внутренне вариативным дискурсом. В рамках этого дискурса сакральная география выполняет важную задачу — она сшивает российское культурное пространство. Так будет и впредь, если мы сможем ее сохранить.

# ОСВОБОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА



## Валдайские тезисы Путина

**В** 2013 г. Валдайская речь В. В. Путина вызвала не так уж много откликов. Сработал эффект неожиданности. Так бывает, когда нечто давным-давно ожидаемое наконец случается — и хотя мы давно об этом думали, в первый момент все же не готовы осознать произошедшее.

Замедленная рефлексия экспертного сообщества объяснялась тем, что оно оказалось не в состоянии сразу же осознанно отреагировать на путинскую речь. Слишком очевиден был в этой речи перелом в приоритетах, поворот к новым целям, смыслам и ценностям, более того — к новому политическому языку.

В. В. Путин задал обществу новую повестку дня. Не на одну неделю, не на один политический сезон. Надолго. Он начал разговор о критериях национальной идентичности, о восстановлении исторической преемственности страны. Самые простые вопросы оказались, как ни странно, самыми важными и неожиданными: «Кто мы?», «Кем мы хотим быть?».

У экспертного сообщества в нужный момент не оказалось сформулированной теоретической базы по главным вопросам, которым предстоит определять развитие страны. Правда, ведет себя это сообщество так, словно эта база у него есть, но эмоциональную атмосферу не скроешь: это смесь расте-

рянности и ложной многозначительности. Вряд ли такой настрой мог кого-нибудь ввести в заблуждение. Реплики отдельных комментаторов были скорее рефлекторны, нежели содержательны.

Одна из немногих внятных вещей, которые все-таки прозвучали, это то, что сказанное президентом на Валдае можно сравнить с его же Мюнхенским выступлением (2007 г.). Однако это верно лишь отчасти. Две речи одновременно похожи и не похожи. Сравнить их между собой было бы полезно.

Тогда, в Мюнхене, Путин, обращаясь к западным оппонентам, подверг резкой и справедливой критике доктрину однополярного мира. Это было естественно, только так можно было упрочить позиции России во внешней политике. Мюнхенская речь не была спонтанной, а стала одним из звеньев логичного внешнеполитического курса. К 2013 г., когда до Крымского референдума оставался год, на внешнеполитическом направлении уже многое было достигнуто: объединение двух русских церквей, создание Таможенного союза, отражение агрессии со стороны Грузии...

Все перечисленное произошло без материальных жертв, без ущерба стране. За прошедшие годы уровень жизни в России по крайней мере не упал. Цели удалось достичь без подрыва социальной базы, без утраты авторитета власти, без запрещенных политических средств и методов, характерных для сталинской эпохи.

Вроде бы все развивалось неплохо. И вдруг президент меняет повестку дня. Он начинает разговор с обществом о глубинных внутренних проблемах

страны, без решения которых ее развитие, включая внешнеполитическую линию, упирается в потолок. Президент призывает страну к сосредоточению и консолидации на основе национальных ценностей.

Кому, кроме общества в целом, президент непосредственно адресует свою речь, в чью сторону направлен месседж, кроме общества в целом?

С одной стороны, все тому же экспертному сообществу, которое до сих пор не может дать внятный ответ. Оно привыкло к словесной эквилибристике в рамках обкатанного политического эзопова языка, но сегодня эта практика перестает быть востребованной.

С другой стороны, он адресует ее российскому большинству, у которого озвученные президентом вопросы как раз давно назрели, но, не имея доступа к медийным площадкам и стратегическим разработкам, это российское большинство обречено на вынужденное безмолвие. Неожиданно Путин заговорил от имени этого безмолвствующего большинства, и оно обрело голос. Следует особо отметить, что если президент напрямую говорит о ценностях народа, повышается и общественно-политическая субъектность самого народа, к которому он обращается через головы элит. Государственное давление уменьшается, народный суверенитет подчеркивается и становится более ощутимым. Этот процесс де факто делает имеющуюся политическую модель более демократичной, что и само по себе является очевидным благом.

Есть у путинской речи и внешний адресат. Он находится за пределами России. Это европейские консерваторы, которые, так же как и Путин, оза-

бочены размыванием национальных основ, борьбой с семейными ценностями, принудительной секуляризацией, репрессивной толерантностью («трансгуманизмом»), мультикультурализмом — всеми теми процессами, которые ведут к утрате Европой своей идентичности.

В. В. Путин говорит: «Многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану... И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису».

Именно эти процессы тревожат сегодня здоровую часть западного общества. Ее представители, европейские консерваторы, слушают российского президента очень внимательно и хотели бы видеть в нем собирателя исконных европейских ценностей.

Текст той валдайской речи Путина содержит важное признание: «Мы дважды пережили распад нашей государственности. В результате получили разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, с деморализацией общества».

Почему это стало возможным? «Отсутствие национальной идеи, основанной на национальной идентичности, — продолжает Путин, — было вы-



годно той квазиколониальной части элиты, которая предпочитала воровать и выводить капиталы, и не связывала свое будущее со страной, где эти капиталы зарабатывались».

В сущности, речь идет о некорректном формировании немалой части российского правящего класса. Лишь исключив ее влияние, мы сможем повернуться лицом к собственной истории. Это неизбежный процесс: «Этот разрыв традиции необходимо преодолеть».

Поэтому главным предметом обсуждения, который предложил президент, становится моральный консенсус в обществе. Этот консенсус есть «историческое творчество, синтез лучшего национального опыта». Лучшее в национальном опыте и есть то, что связано с традицией, с корневыми пластами национальной истории и культуры.

Мы входим в новую политическую реальность. Мы понимаем, что нам не нужны поиски национальной идеи, о которых пикейные жилеты твердили десятилетиями. Неверна сама постановка вопроса. Ничего не надо искать. Национальные ценности, общественная этика — все это никуда не исчезало, просто существовало отдельно от политического курса.

Это неоправданное раздвоение стало тормозом для страны. Политический курс и базовые общественные ценности должны прийти в соответствие друг с другом. Это ситуация кардинального перелома.

Одна из особенностей путинской валдайской речи в 2013 г., которая сразу бросается в глаза, — стилистическая. Налицо явное стремление к смене политического языка.

До сих пор мы говорили на смеси застывших терминов Realpolitik, социологизмов и псевдогуманистических клише. Это язык экспертократии, который сегодня уже не годится для отражения политической реальности, ушедшей далеко вперед. Этот язык не вмещает в себя те важнейшие смыслы, которые рождаются, когда разговор ведется в контексте национальных ценностей и стратегических задач страны. Увы, не годится для этого и привычный экстагический язык державно-патриотической риторики — он также не ухватывает политически реалии.

Нужен новый язык, и президент это понимает. Не язык мифов, иносказаний, паранаучной терминологии, политтехнологических манипуляций и триумфальных лозунгов, а язык, на котором власть может напрямую говорить с обществом.

Время постмодернистских симуляций в политике, время фантомов и камуфляжа закончилось. Приходит время ответственных решений, и оно требует прямой речи, прямых высказываний. Корректировка национальных целей и задач влечет за собой и новое словесное оформление.

Мы стоим на пороге национальной консолидации, а консолидировать нацию могут только общие нравственные и исторические ценности. Если консолидация будет успешной, а политический курс будет проложен в верном направлении, через несколько лет мы станем свидетелями появления новой парадигмы публичных ценностей в России. Несколько лет — немалый срок, но процесс уже начался.

Но для адекватного выражения национальных ценностей и критериев национальной идентичности

опять же необходимо овладение новым общественно-политическим языком. Именно язык способен не только отразить, но и консервировать, сохранять эти ценности, стать гарантией того, что общество не упустит их вновь из поля зрения.

Формулирование ценностей неизбежно столкнется с дискуссией различных политических лагерей. Эта дискуссия во многом и будет борьбой за новый, нравственный язык в политике. Препятствием к этому вытеснял и табуировал национальные ценности, поэтому и стала неизбежной его замена.

Сегодня и правящему слою, и народу предстоит отказаться от языка политтехнологий и заговорить на языке этики. Общество должно расстаться с иллюзией, что этика — только частное дело. Необходимо признать, что этика всегда имеет социальное измерение. И если эпоха коммунизма явила собой неудачный пример социализации этики, это еще не отменяет необходимости социализации этики в принципе.

Уже можно предположить, что в ближайшем будущем свои позиции сохранит именно та часть экспертного сообщества, которая овладеет новым языком.

## Чужая речь

**Л**иберальная дискурсивная среда играет роль своеобразной «прошивки» жизненного мира современного человека. Освобождение от ее влияния дается нелегко. Выработка дистанции по отношению к либеральным нарративам, их лексике, идиоматике, синтаксису дает опыт встречи с иной языковой реальностью и развивает вкус к независимому мышлению. Поэтому роль исследований либерального языка, как когда-то языка советской культуры, трудно переоценить.

\*\*\*

Философ и политтехнолог — каждый по-своему — понимают всю условность языковых конвенций, осмысливая их в рамках собственной эпистемологии или используя для политических проектов. Но простой обыватель находится в куда более слабой позиции. Для ориентации в пространстве либерального дискурса он вынужден принимать предложенные правила игры, а не анализировать природу этих правил. Этот человек как никто другой зависит от доксы — того, что называют очевидностью, идиомами повседневности, шаблонами вербального и невербального поведения. Выпадение из этих рамок угрожает ему кризисом самоидентичности. Иными словами, индивидуум находится в абсо-

лотной зависимости от языка, который использует его окружение.

Поэтому для многих, причем независимо от их политических взглядов, мыслить и вести себя «не-либерально» — очень непростая задача. Особенно в условиях публичности. Например, «умный» человек не станет говорить в либеральном кругу о том, как США и Канада укрывали нацистских преступников, о применении зарядов с обедненным ураном при обстрелах Белграда, о неудачной попытке либерального переворота в Турции в 2016 г., о социальном конструировании концепта автономной личности и тому подобных вещах. Это «не принято» («в эту сторону думать не надо»). Попытка поднять такие темы приводит к репутационным потерям и понижению социального статуса говорящего либо к необходимости публично каяться в сказанном. Срабатывает глубоко укоренившийся рефлекс: «Нельзя!» Как любят выражаться некоторые блогеры, «в голове загорается красная лампочка».

Конечно, это можно объяснить характерной для либерального социума дискриминацией, идеологическими запретами, особым характером дисциплинарной власти в условиях либерализма и вообще нравами «либеральной жандармерии». И это будет правда. Но не вся правда. Дело не только в социальном инстинкте самосохранения, но и в логической технике данного типа мышления. Есть такие вопросы, которые накатанные схемы и ограничения либерального дискурса даже не дают как следует поставить, не то что решать, а тем более артикулировать.

Например, в либеральной системе понятий крайне сложно на должном уровне отрефлексировать

проблематику тоталитарности. Важно обратить внимание на то, что само изучение тоталитаризма («тоталитарного опыта человечества», «режимов XX в.» и т. п.) сегодня жестко вменяется в обязанность. Изучение тоталитарности становится тоталитарным, и уже появилось поколение, которое свой первый опыт встречи с этим явлением, с его репрессивными практиками, получило именно в виде принуждения к догматике, связанной с темой тоталитарности. Здесь можно говорить и о трудностях с определением «тоталитарности», и о табуировании поиска исторических корней этого явления, и об обращенных формах тоталитарности в виде избирательной «правозащитной» деятельности. Но для такого уровня рефлексии необходим выход за границы либерального дискурса, что удается не всем и не часто.

Как правило, в подходе к теме опускается тот факт, что все формы тоталитаризма в XX в. так или иначе оказались производными от разных форм идеологии модерна, наиболее влиятельные из которых — именно либерализм и протолиберализм (колониализм). «Антитоталитарный» субдискурс сегодня сам генерирует тоталитарные схемы мышления с беспрецедентной интенсивностью. Например, он производит и поддерживает концепцию коллективной исторической вины, и это, вне всякого сомнения, гегемонистская тоталитарная стратегия.

Ярким примером такой стратегии можно считать публичную деятельность С. Алексиевич — автора книги «У войны не женское лицо», лауреата премии Ленинского комсомола, нобелевского лауреата, уроженки Западной Украины и белорусской писательницы, пишущей на русском языке совсем не о бе-

лорусских проблемах. Алексиевич утверждает, что невовлеченная позиция по отношению к феномену тоталитарности («Я родился позже, к чему меня все это обязывает?») морально ничтожна, поскольку «жертвы так же противны, как и палачи» и якобы существует опасность «повторения ГУЛАГа». Это начало отстройки мифа о коллективной вине. Следующий шаг — перенос обвинения с конкретных участников на «невовлеченных», то есть на народ, с которого, в отличие от реальных виновников, можно спрашивать и спрашивать бесконечно, попутно выдвигая некие ультимативные требования идеологического свойства. По идентичной схеме строится идеологическая формула украинских ультраправых: «Кто не скачет, тот москаль!» Причем совершенно не важно, кто этот «тот» (и «москаль» ли он), важен сам принцип.

В общем, тема тирании и политических прав давно, как говорят философы, «закрутилась на себя улиткой». По аналогии с известным афоризмом по поводу борьбы за мир вполне можно сказать: будет такая защита прав, что нельзя будет и вздохнуть без разрешения. Но эта мысль с огромным трудом тематизируется средствами либеральной лексики и фразеологии и совершенно не поддерживается либеральной общественной повесткой. На такое же пребывание вне критики обречен основной онтологический аргумент либерализма — идея особых прав «цивилизованного общества» по сравнению с миром «варварства», якобы не живущего по «демократическим стандартам».

Почему так обстоит дело? Почему множество значимых содержаний не просто замалчивается, но

даже технически не воспроизводится, не тематизируется в рамках либерального интеллектуального поля?

Начнем с того, что современный либерализм — не просто политическая доктрина или учение, как это было в XVIII—XX вв. Политико-идеологическая сторона либерализма составляет сегодня периферийный уровень его семантики. Его системная доминанта — это жестко заданные критерии субъектности и социальности, и эти критерии человек вынужден принимать еще до того, как он начинает задумываться о политике или вопросах культуры. Этот «акт принятия», индоктринация происходит до того, как у индивида появляется возможность сколько-нибудь свободного выбора и критической оценки. Основы либеральной модели мира закладываются в сознание *до* и *вне* всякой критической деятельности.

Разумеется, этот факт не осознается обладателем либеральной идентичности. Его зависимость от *lingua liberalis* не позволяет ему наблюдать границы этого явления, осознать его тотальность и в то же время его ограниченность, искусственность, почувствовав за всем этим процесс глубокой и необратимой дегуманизации и деградации либерального общества. И это отнюдь не только вопрос идеологии, политической ангажированности или «формирования мировоззрения». Дело вообще не столько в том, *что* человек думает, сколько в том, *как*, каким «способом» он это делает, как организован процесс мышления. А организован он по законам либерального языка, с помощью которого формируется вполне узнаваемый «дискурс». Поскольку личность



и субъективность суть продукты языка, власть этого дискурса прослеживается в моделях поведения, независимо от личностной саморефлексии, и никогда не отвергается в ходе рационального выбора, то есть осуществляется на довербальном уровне. Именно поэтому концепт «свободы выбора» имеет высокий статус в либеральной культуре и всегда преподносится как якобы естественная точка сборки так называемой автономной личности.

Либерализм порождает несравненно более эффективные механизмы социального принуждения и более высокий уровень тоталитарности, более изощренную ее форму, нежели «старорежимная» тоталитарность с прозрачным и монолитным идеологическим содержанием, которая служила и служит мишенью для критики со стороны самого либерализма. Это принципиальное различие вытекает из соотношения двух типов власти — монументальной и дисциплинарной (в рамках терминологии М. Фуко).

Таким образом, современный либерализм — предмет уже не только и не столько социологический и политико-идеологический, как было до начала 1990-х гг. Сегодня это предмет культурологического и антропологического изучения и, в частности, филолософско-лингвистического анализа.

Сегодня либеральная элита не в состоянии прежними средствами поддерживать важный для нее порядок дискурса, поэтому в ход все чаще идут грубые инструменты: от фальсификаций на выборах (манипуляции с бюллетенями в США) до возрождения милитаризма и ультраправой идеологии (арабская весна, украинский майдан и т. п.). Но эффектив-

ность даже таких мер постоянно падает, яркий пример — провал военного переворота турецких либералов в 2016 г.

Отказ либерализма от собственных базовых принципов во имя сохранения гегемонии уже виден невооруженным глазом. Порядок дискурса, в жертву которому приносится все и еще немного, уже начинает подрывать западные общественные институты — например, американский институт президентства, в связи с нежеланием части элит признать права Д. Трампа на отправление предписанных ему конституцией властных функций.

В этих условиях общество особенно нуждается в оценке и глубоком анализе культурно-языковой ситуации, в которой оно находится и из которой ему рано или поздно предстоит выйти. Общество уже начинает испытывать отчуждение и выстраивать психологическую дистанцию по отношению к либеральной культуре. И эта дистанция заполняется новым содержанием.

В России такое содержание появилось в результате Крымского консенсуса и вообще событий 2014 г. После них стало понятно, что либеральный дискурс — это инструмент войны с национальной идентичностью и традицией.

Аналогичным образом на Западе развивается «дискурс подозрения» (Т. Адорно) по отношению к либеральной дискурсивной среде. Общество осознает ответственность либерализма за экспансионистскую и милитаристскую политику правящих элит, за навязывание стандартов мультикультурности, политкорректности и одновременно за реабилитацию неонацизма, за двойные стандарты и разруше-

ние социальных и правовых институтов западного общества. Отсюда возникает устойчивое желание как можно меньше использовать субдискурсы либерального языка, в частности имеющие отношение к финансистам и брюссельской бюрократии. Точно так же когда-то в СССР многие испытывали желание перестать использовать лексику коммунистического новояза и партийного официоза.

Таким образом, либеральный язык уже сегодня воспринимается консервативно-демократическим большинством как нечто специфическое и неестественное, а в ближайшее время будет восприниматься как «чужая речь», не способная адекватно структурировать социальную реальность.

О происходящих глубоких переменах свидетельствует прежде всего сам факт перехода либерального языка из разряда «высказывания» в разряд «высказываемого», превращение из средства (по поводу которого не принято рефлексировать) — в предмет рефлексии. Именно пересечение этой границы, превращающей «высказывание» в «высказываемое», дает говорящему опыт встречи с реальностью, находящейся за границами языка, в плену которого он еще пребывает. Но освобождение из плена произойдет уже довольно скоро. Использование либерального языка становится бессмысленным уже сейчас. В ближайшее время его дескриптивные и коммуникативные возможности будут падать, его позитивистская онтология уступит место новой — универсалистской.

И поскольку мы являемся современниками и носителями либерального дискурса в эпоху его упадка, перед нами открывается уникальная возможность

изучать этот дискурс одновременно с позиций внутри- и вненаходимости, то есть с позиций носителя языка и внешнего наблюдателя, располагая точку обзора по границам интересующего нас явления. Таким образом, мы осваиваем язык глобального либерализма, который утрачивает общезначимый статус и которому наша речь уже в полной мере не принадлежит.

\*\*\*

В настоящее время мы все еще вынуждены говорить о либерализме как о метадискурсе, присваивающем, санкционирующем, встраивающем в себя либо конструирующем другие дискурсы в пространстве культуры. Вне либерального дискурса в современном обществе невозможна эффективная Я-концепция: с этим, в частности, связан диктат либерализма в социогуманитарной сфере, находящейся за пределами чистой экономики и чистой политики.

Тотальность либерального дискурса превосходит влияние советского классового подхода, который при необходимости легко вычленился из общей структуры общественно значимых нарративов. Сегодня же демаркационные линии между живым социальным опытом, социогуманитарными науками и либеральным дискурсом полностью утрачены. Поздний либерализм враждебен любым культурным традициям и ценностям.

Авторитарность и дегуманизация либеральной модели общества высоки. По всей видимости, суд над либеральной «этикой» должен стать закономерным продолжением коллапса властных практик ли-

берализма — хотя бы потому, что сама либеральная мысль в свое время настойчиво отстаивала проект суда над коммунизмом, создав тем самым соответствующий исторический прецедент.

Но всему этому неизбежно предшествует кропотливая работа с языком. Поэтому наша задача — наметить некоторые направления будущего анализа, выделив наиболее важные сегменты либерального «большого дискурса» и обозначив основные категории современной либеральной культуры.

### Генезис

Образ мира и человека, «вшитый» в либеральный язык, имеет несколько источников: позитивизм (вера в возможность рационального объяснения вещей как бы «из них самих»), кальвинизм (миф избранности и превосходства), мальтузианство (миф о пользе естественного отбора в человеческом обществе) и гностицизм (миф о тайном знании узкого круга жрецов, экспертов, «технократов» и т. п.).

В качестве идеологического основания этой системы следует выделить кальвинистский пафос «орудия бога» и понятие «Manifest Destiny» («Предопределение Судьбы»)¹. Отсюда вытекает «право на экспансию» и на руководство «варварами», как в далеких землях, так и внутри общества: между внешней и внутренней колонизацией нет принципиальных этических различий.

---

<sup>1</sup> Данный термин впервые использован демократом Джоном О'Салливаном в 1845 г. в статье «Аннексия» с намеком на то, что Соединенные Штаты Америки должны простирается от Атлантического до Тихого океана.

### Языковые игры

Жесткие сценарии поведения формируются посредством языковых игр, выполняющих важную роль в функционировании либерального дискурса. Например, языковые инструменты способствуют приучению к моральному релятивизму.

Простой пример. Единственным американским официальным лицом, кто извинился за бомбардировки Сербии 1990-х гг., был Д. Трамп. Но по законам перевернутой логики современного либерализма именно за это Трампа в очередной раз назвали «фашистом».

Так, в форме причудливой языковой игры реализуется концепт абсолютного зла и проявляется репрессивный характер смыслопорождающих механизмов либерального дискурса. Как здесь не вспомнить Оруэлла, предложившего в свое время название «ангсоц» для языка новейшей диктатуры: «Правда — это ложь. Свобода — это рабство. Мир — это война. Незнание — сила».

### «Рукопожатность»

Это один из важных институтов либерального социума, причем не только в России (ср. понятие «deplorable» — «деplorанты», «содержимое корзины для бумаг» — в предвыборной риторике Х. Клинтон).

В России институт «рукопожатности» сформировался в результате отрыва его сторонников от истинной исторической почвы — антисоветского диссидентского движения. Если в период политических преследований эта форма поведения обеспечивала конспирацию, то в новом, постсоветском контексте

она превратилась в инструмент господства одной из привилегированных социальных групп — либерально-западной интеллигенции (позже «креативного класса»), которая выполняет в России роль колониальной администрации.

На более глубоком, символическом уровне современная «рукопожатность» означает страх нечистоты и осквернения. Эта семантика сопровождает снижение когнитивного статуса «рукопожатных» до первобытного состояния сознания, неомагизма, в рамках которого некая изначальная «магическая сила» еще не превратилась в развитую систему моральных норм и регулятивов, характерную для традиционных религий. Осуждение и вообще «суд» заменяется в этом случае проклятием. «Рукопожатность» восходит к архаичному ритуалу изгнания из племени. Регресс и структурное упрощение культурных моделей, «новая дикость» и архаизация общества в принципе характерны для периода позднего либерализма.

### Выключение из дискурса

Либеральный дискурс создает метанарративную схему, отступление от которой (нарушение табу) выключает субъекта из коммуникации. Реакцией либеральной среды на такое отступление обычно становятся не рациональные аргументы, а сигнал к выключению из дискурса. Например: «А еще у них негров линчуют». Или, более мягко: «Не все так просто». И то и другое — сигналы разрыва дискурса собеседника, после которых можно говорить уже что угодно, не обращая внимания на сказанное ранее.

Правда, вариант «полувыключения» («Не все так просто») имеет свои минусы — он позволяет себе-

седнику использовать эту же модальность и начать ответ, например, со слов: «На самом деле все еще сложнее...» Поэтому полное выключение предпочтительнее.

Смысл такого выключения состоит в том, чтобы подчеркнуть: данная тема «нерукопожатна», находится вне общепринятого контекста, это табу. И поэтому не требуется рационального ответа, соблюдения норм вежливости и уважения к собеседнику. В сущности, табуируется в этом случае не только само высказывание, но и его автор.

Если в рамках «старорежимного» тоталитарного языка нежелательное суждение получало идеологический ярлык, то в рамках «дисциплинарного» либерального языка преобладают именно слова-сигналы. Эти слова рассекают пространство коммуникации, воспроизводя модель разделенного общества, границы между культурой и не-культурой.

В России носители либерального языка нередко сами себя характеризуют как «приличных людей», что может быть интерпретировано как манифестация непреодолимого социального разделения. Вообще либеральный дискурс имплицитно содержит в себе расистскую матрицу, то есть модель разделенного мира, состоящего из «цивилизованной» и «нецивилизованной» частей, которые связаны отношениями подчинения. Эта модель исторически характерна для колониализма.

В процессе речи эту ситуацию воспроизводят дословные элементы дискурса (фразы-шифтеры), а тот, кто ими пользуется, демонстрирует *обдуманно* иррациональную реакцию.



## Стыд. Трансформация понятия

Важнейшим для либерального языка является понятие «стыд». Этой темы мы уже касались выше, в главе «Либерал-православие». Смысл этого понятия в парадигме либеральной культуры полностью противоположен тому, который существует в исторической традиции.

Традиционно стыд является следствием греха, промаха или ошибки (грех в древнегреческом и означает «промах») и проявляется в отношениях человека с Богом. В либеральной парадигме «стыд» — форма обличения другого человека. Носителю либерального сознания чаще всего бывает стыдно не за себя и не за единомышленников, а именно за чужих («Мне стыдно за эту страну»).

Можно сказать, что наблюдается некая форма трансфера в отношении понятия стыда: условный «я» стыжусь *за* тех, кому *должно* быть стыдно. Такой стыд вполне инструментален. Он часто направлен на враждебные либерализму «нерыночные» ценности и концепты вроде социальной справедливости, патриотизма или реальной демократии. Для них либеральный язык использует свой набор понятий-стикеров. Например: «популизм», «имперская ностальгия», «тоталитаризм», «ксенофобия», «патриотический угар».

Ритуальная стыдливость подчеркивает коммуникативный провал в контакте с оппонентом, но на деле является эвфемизмом, скрытым признанием социальной чуждости («пенсионеры не вписались в рынок — пусть вымирают естественным образом»). Но глубокий социальный разрыв активно вытесняется мифом об «общегражданских ценностях» и «гражданском обществе».

В качестве кодовых понятий, скрепляющих это общество-в-обществе, используется набор идиом: «выйти на площадь», «сервильность», «кровавый режим», «какой позор!».

Стремление одновременно осудить, заклеить и переубедить ведет к тому, что либерал проповедует стыд за других. Это степень ханжества, до которой далеко даже самым замшелым консерваторам и «футлярным людям». Но пафосное менторство и одновременно театральность этого субдискурса, усиливая друг друга, порождают смеховой эффект. Поэтому либеральный морализм нередко отзывается бурлеском, являя миру смесь клоунады и моралите, как если бы клоун читал проповедь с амвона.

Но это еще не все. Помимо идеологической функции феномен либерального стыда выполняет также кодовую функцию, превращаясь в пароль для узкого круга. «Своих» опознают как раз по специфическому чувству стыда.

Остальным предлагается либо поддерживать такой порядок коммуникации, либо выпасть за границы круга «активной части общества, которая делает свой выбор». Последняя идиома — эвфемизм, маскирующий подлинный статус социального меньшинства, которое требует себе привилегий за счет большинства.

### Иррационализм

Иррационализм — общая черта, которую часто можно встретить, анализируя построение ключевых фраз либерал-дискурса. Классический случай — когда на базовом уровне рассуждения принимаются две взаимоисключающие предпосылки. Например,

«плюрализм» и «общечеловеческие ценности» одновременно. С точки зрения логики очевидно, что либо нет таких единых ценностей, либо плюрализм невозможен.

Типичный пример: «Давно пора жить и принимать решения, как в цивилизованных странах». Но при ссылке на Америку в вопросе об опыте гибридных войн следует ответ: «США меня не волнуют, это не моя страна».

Другой пример. После вступления в президентскую должность Д. Трампа американскими демократами было проведено множество антитрамповских демонстраций. На одной из таких демонстраций шли феминистки с плакатами. И эти плакаты одновременно призывали к женскому равноправию и к разрешению мусульманским женщинам публично носить хиджаб.

О высоком содержании логических противоречий в составе либерального языка говорят такие парадоксальные определения, как «гуманитарные бомбардировки», «позитивная дискриминация», «принуждение к миру».

Все эти примеры свидетельствуют отнюдь не об интеллектуальном бессилии хозяев дискурса. Напротив, они говорят о стремлении вывести культурно-языковую парадигму либерализма из состояния кризиса через глубокую трансформацию, заменив «высокий» философский рационализм, доставшийся ей от эпохи Просвещения, на иррациональные конструкции, но сохранить стилистическую оболочку дискурса, то есть рационалистическую и наукообразную лексику и манеру изложения.

Рационально-научная терминология превращается в систему метафор, которая не систематизирует свой предмет, а лишь уподобляет его некой условной (виртуальной) системе. Таким образом формируется онтология позитивизма и конструктивизма. Но метафизический статус описывающих ее концепций маскируется за видимостью научности. Все это очень напоминает формирование языка сайентологии и иных квазирелигиозных доктрин.

### Технократизм

Характерно, что понятие «технократ» обладает в либеральном дискурсе абсолютно сакральным смыслом. Для понятия «технократ» не предусмотрена равноправная дихотомическая пара (что как раз служило бы отличительным признаком научно-технократического мышления). В противовес или в дополнение к понятию «технократы» никогда не говорят о «пневмократах» или «сенсократах». Есть только «технократы» и все остальные — не-технократы. Таким образом, вместо сбалансированной культурной оппозиции в этой части дискурса мы имеем привилегированное означающее, как сказал бы философ Ж. Деррида. То есть отправную точку культурной гегемонии. Вот типичные высказывания: «В правительство пришли технократы» или «Пришли молодые технократы». Второе высказывание явно тавтологично: определение «молодой» в подобных контекстах можно опускать, оно и так подразумевается, причем независимо от фактического возраста человека.

В рамках либерального дискурса абсолютно немыслимым выглядит выражение «старый технократ».

Оно ведет к разрыву языкового шаблона. Аналогичный комплекс понятий с темами молодости и несменяемости (в совокупности они восходят к мифологеме бессмертия) существовал когда-то в рамках советского дискурса: «Комсомол не просто возраст, комсомол — моя судьба!»; «Стоят комиссары, стоят комиссары, как прежде, стоят у руля!» и т. п.

Технократический субдискурс используется во многих установочных текстах, например имеющих отношение к социологии и психологии — двум наиболее идеологически нагруженным дисциплинам, ныне вытесняющим на периферию смежные социогуманитарные науки и предпочитающим аналитике формирующие технологии. В сущности, они сегодня играют роль, которую играли исторический и диалектический материализм в рамках советского обществознания.

### Эсхатология («ватный Апокалипсис»)

Мифологема «ватного апокалипсиса» состоит из двух мифем — «ватности» (в понимании «рукопожатных» — социальной неполноценности) и апокалиптического ощущения конца знакомого мира, обрушения основ привычного миропорядка. В 1990-е бывшая советская профессура представляла себе наступающую эпоху в апокалиптических тонах: основы рухнули, системного знания больше нет, как теперь жить и работать?! И говоря откровенно, эти люди во многом оказались правы.

Сегодня с либеральной системой складывается во многом схожая ситуация. Догматики от либерализма мыслят примерно так же: что делать, мир без

глобального лидерства удержать нельзя, произойдет всеобщий ватный апокалипсис. Теперь все — «Гуляй, рванина!».

Так, выступая перед спонсорами с предвыборной речью, Х. Клинтон заявила, что половину сторонников Д. Трампа следует поместить в «basket of deplorables» — «корзину для отбросов». Слово *deplorabilis* используется в психиатрии, в выражении «*casus plane deplorabilis*» — «полностью безнадежный случай». Клинтон развивала свою мысль так: «Расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы — дальше по списку. К сожалению, есть такие люди. И он их поднял, разбудил. Эти ребята неисправимы, но, к счастью, они не Америка». По логике этих заявлений следующий шаг — это отказ от принципа всеобщего избирательного права.

Разве можно предоставлять народу право что-то решать? Это же не настоящий народ, а народ-самозванец («быдло»). Демократия хороша, но не для всех. А дальше начинает работать логика исключения, и носитель либеральной идентичности быстро скатывается к трактовке большинства как нерепрезентативной общности. Для этого используется понятие «гражданское общество», которое предполагает концепт некой «зрелости», некий культурный ценз, обычно не выраженный в ясных критериях, поскольку тогда слишком резко обнажились бы культур-расистские предпосылки данного подхода, классические проявления «мифа превосходства». В итоге в гражданское общество зачисляется несколько процентов от населения страны, но это никого не смущает. Ведь данный факт не отображается в мифе и не подлежит рационализации.

Его как бы не существует. Иногда дело доходит и до откровенного расизма, когда начинаются разговоры о «потомственных рабах», «недолюдях» и «генетических отбросах».

Чтобы изменить людей, надо прежде всего изменить их язык. А первый шаг к изменению — это осознание. Языковое бессознательное, как известно, не попадает в поле рефлексии, но как только это бессознательное осознается, сразу же начинаются сдвиги внутри системы. Они накапливаются, и по достижении ими критической массы происходит смена парадигмы.

Смена либеральной парадигмы, парадигмы либерального модерна — вопрос времени. Эта смена приведет к новой форме универсализма и построению общества на основе новых, более коммунитарных принципов.

В частности, это означает переход к ответственному обращению с языком как «институтом всех общественных институтов». Это означает выработку не одной, а множества лингво-философских стратегий. В частности, это означает право бросить лингвистический вызов философии «автономной личности», утвердившейся в рамках либерального языка в качестве единственной идеологии, которая не может быть поставлена под сомнение.

## Язык Церкви

**Н**ередко внешние наблюдатели указывают на некий эсхатологизм и фатализм восприятия общественных процессов в церковной среде. И задаются вопросом: почему же православные группы и общины, констатируя моральный кризис общества, в основном позиционируют себя как «зрителей в партере»? «Существует ли у российской церковной общественности иной, некатастрофический язык для описания *современности*?» — спрашивают они.

На самом деле современная социальная и культурная ситуация, вызванная кризисом проекта модерна, не столь эсхатологична, сколь «герменевтична». Она очень напоминает библейский сюжет о вавилонском смешении языков. Да, это катастрофа, но катастрофа в каком-то смысле плодотворная. С точки зрения Церкви, ситуация выглядит именно как аналог ситуации многоязычия, которая уже возникала в апостольские времена и точно так же требовала нести Слово Божье самым разным племенам и народам, всем вместе и каждому в отдельности:

«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им



разделяющиеся языки, как бы огненные, и почтили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламнты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?» (Деян. 2: 1–12).

Следовательно, при обсуждении языка Церкви в этот переходный период главной становится именно проблема полигlossии современного общества. А это в свою очередь означает необходимость ревизии и переоценки на первый взгляд знакомых понятий, таких как «современность», «секулярность», «религиозность», «гуманизм», «традиция» и др. Уточнение базовых понятий представляет собой условие, без которого разговор о языке Церкви, шире — языке христианской традиции, будет постоянно хромать, наталкиваясь на расхождения в терминах.

Для начала следует разобраться в том, что мы понимаем под «современностью». Есть большие сомнения, что сегодня можно воссоздать монолитный и внутренне непротиворечивый образ,

стоящий за понятием «современность» (как в академическом значении «модернити», так и в более широком смысле). Современное общество дискретно и фрагментированно, в нем усиливаются социальное расслоение, клановость, растет роль локальных идентичностей и меньшинств, отсутствует единое идеологическое пространство. Сегодня в цене узкие компетенции и спецификаторство, разделение интеллектуальных усилий. Культура приобретает все более нишевый характер; для нее характерны, с одной стороны, антитрадиционализм и антихристианские мотивы, с другой — антирационализм, неприязнь к классической рациональности и фундаментальным энциклопедическим знаниям, а кроме того — провокативность, наивная демонстративность и агрессия, примитивизация языка, ультраправый радикализм под маской остаточной гуманистической либеральности.

Все это заставляет говорить о феномене «нового варварства», в значительной мере искусственном, об архаизации господствующей социальной модели. Иначе говоря, о нонмодерне (термин Б. Латура, характеризующий состояние общества как «зависание между историческими этажами»)<sup>1</sup>, а не просто о «постмодерне» и уж точно не о «позднем модерне», как до сих пор еще иногда принято утверждать в рамках публичных обсуждений.

Иными словами, мы находимся вовсе не в состоянии «незавершенного модерна», как было принято

---

<sup>1</sup> См.: *Латура Б.* Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. с фр. Д. Я. Калугина. СПб., 2006.

утверждать вслед за Ю. Хабермасом<sup>1</sup>, а скорее в состоянии *номодерна* переходного периода, который характеризуется преобладанием явлений контр-модерна — ультраправых, конструктивистских, нацистских, технократических, квазифундаменталистских и прочих радикальных тенденций. Пока еще этот *временный, ситуативный контрмодерн* не превратился в долгосрочный культурный базис. Пока это лишь рефлекторная реакция общества на износ прежней модели культуры, отсеченной гуманистическими ценностями и научно-критическим типом мышления. Если обращаться к далеким и рискованным историческим аналогиям, то данное состояние общества чем-то напоминает состояние упадка Рима, состояние накануне христианской эпохи.

Между тем хабермасовские идеи «незавершенного модерна» и «нового проекта модерна», хотя и противоречат объективному положению вещей, пока еще не свергнуты с пьедестала. При этом они, к сожалению, скрывают в себе интеллектуальную ловушку, которая не сразу бросается в глаза. Идея «незавершенности» как бы предполагает, что модерн мог бы длиться (завершаться) вечно. По сути, мы здесь наблюдаем смену исторической интенции либерализма, который единолично говорит от имени модерна. Революционная фаза борьбы за «лучший и правильный» миропорядок сменяется

---

<sup>1</sup> См.: Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект. Речь по случаю вручения премии имени Т. Адорно // Хабермас Ю. Политические работы. URL: <http://e-libra.ru/read/353621-politicheskie-raboti.html>. Дата обращения 28.03.2018.

инерционной фазой, фазой консервации. Прежде революционный проект на наших глазах становится реакционным, что впоследствии порождает феномен «нового варварства» в культуре и архаизацию либерализма, что отчасти признавал и сам Ю. Хабермас, говоря, в частности, об «институционализации агрессии» в период бомбежек Югославии силами НАТО.

Состояние общества как состояние нонмодерна пока еще не принято прямо констатировать, принято заменять его эвфемизмами. Часто говорят о периоде постсекулярности, «эпохе гибридов» и т. п. В каком-то смысле это объяснимо, учитывая тот факт, что итог совершающегося исторического перехода не предопределен. Есть точка бифуркации, и неизбежен выбор: *аксиомодерн* (синтез традиции и рационализма модерна) или теперь уже *системный нонмодерн*<sup>1</sup>, *то есть резкий регресс (как на сломе эпохи Античности)*.

*Сегодня состояние культурной среды вызывает тревогу не только у экспертов, но и у обывательского большинства. Распад рационально-критической модели культуры и ее варваризация, новая клановость, реабилитация ультраправых идей создают не самую радужную перспективу ближайшего будущего.*

*Альтернативная модель культурогенеза возможна лишь в рамках некоего нового универ-*

---

<sup>1</sup> См. обэтом: Щипков А. В. Бронзовый век и аксиомодерн // Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы. М., 2015; Черняховский С. Ф. Традиция, модерн и сверхмодерн // Перелом. Сборник статей о справедливости традиции. М., 2013.

*сализма*. Метакультурный универсализм как новая модель культуры придет на смену релятивизму постмодерна и «незавершенного модерна», а также проекту «обновления модерна». Он может быть обозначен термином «аксиомодерн», указывающим на культурный синтез ценностей традиции и интеллектуального арсенала модерна.

Но пока стадия нового универсализма не достигнута, вряд ли правомерно говорить о «едином языке» современности и, соответственно, о возможности единого перевода на него с «языка традиции». «Современностей» сегодня много; общей современности пока не существует, процесс ее складывания находится в самой начальной стадии, причем образ будущего еще не определен.

Понятие «секуляризация», тесно связанное с понятием «современность», также требует проблематизации.

Данные об уменьшении числа верующих в культовых учреждениях — даже тогда, когда они не вызывают сомнений, — касаются только части мира. Другая часть по-прежнему религиозна. В США позиции протестантского фундаментализма чрезвычайно сильны, католицизм силен в Польше и Италии, Латинской Америке, иудаизм — в Израиле и т. д. А между тем секуляристский тренд объявляется мировым, секуляризм — универсальным умонастроением. Это, конечно, неверно. А в последние годы возникают серьезные сомнения в линейности и необратимости секуляризации даже там, где она действительно имела место, — с этим связан огромный корпус исследований проблемы постсекулярности. Вполне очевидно, что устоявшееся в XX в. толкова-

ние понятия «секуляризация» не соответствует его реальному сегодняшнему содержанию.

Простое на первый взгляд утверждение: «Современность потребовала от Церкви нового языка» — в нынешних условиях нуждается в дополнительном осмыслении и разъяснении. В ближайшее время потребуются серьезные и долгосрочные усилия для достижения какой-то конвенции в этом вопросе. Говоря о языке Церкви, мы должны отдавать себе отчет в том, каково его реальное назначение сегодня, и не совершать некоторых типичных ошибок.

Например, методологически неправильно говорить о «диалоге Церкви и общества», поскольку все церкви и религиозные организации — это тоже часть общества и такая формулировка выглядит дискриминационной. В действительности речь идет о диалоге между верующей и секулярной частями общества. Здесь важно понимать, что, с точки зрения категории «религиозности — секулярности», общество по определению неоднородно: полностью секулярным является по Конституции лишь государство, а смешение этих двух понятий ведет к грубой методологической ошибке, которую необходимо избегать.

Из сказанного естественным образом следует вопрос: язык Церкви в нынешней ситуации — это язык общения с какими собеседниками? Возможен ли (и нужен ли) такой универсальный язык, который одинаково хорош для разговора с инославными, с представителями иных конфессий, с носителями разных форм нерелигиозного сознания — агностиками, деистами, воинствующими и умеренными

атеистами, представителями политического секуляризма? Предположим, что такой язык и нужен, и возможен, но как он должен строиться?

Говоря о таком универсальном церковном языке, первое, что нужно сделать, — это избавиться от мифа о секулярной части общества как о чем-то стандартизированном, как о якобы единственном существующем для верующих «значимом Другом». Такое представление о секулярности и о современном обществе присуще лишь радикальным секуляристам, но мнение о том, что этот «стандарт секулярности» разделяется всем обществом или даже его секулярной частью, конечно, беспочвенно. Эта гипотеза столь же абсурдна, как если бы мы предположили, что верующих всех мировых религий представляет только одна религиозная структура. Как никто не может единолично присвоить язык религиозности, так никто не может единолично присвоить и язык секулярности. Монолитного единства никак не получается. Ведь даже модернистские идеологии не сменяют и не вытесняют друг друга без остатка: в одно и то же время существуют старшая линия модернизма, либеральная, и младшая, коммунистическая и социалистическая, не говоря уже о разных формах ультраправого радикализма.

Что следует из сказанного? Проблема заключается в том, что Русской Православной Церкви в переходную эпоху нужно уметь вести диалог одновременно со множеством разных социальных и культурных субъектов, вести его в предельно фрагментированном и пестром пространстве малых нарративов и малых культов, где в единой мозаике сосуществуют самые разные убеждения и верования,

где идеологии в узком, политическом смысле слова пересекаются с явлениями мифорелигиозного характера, с феноменами гражданской религии, где классическая религиозность соседствует с неклассической. Ведь вся эта пестрота и составляет подлинный интеллектуально-культурный ландшафт постсекулярного общества.

Из данного положения в свою очередь следует, что язык Церкви должен быть одновременно и «равноудаленным», и хорошо понятным, приемлемым для всех социокультурных групп. Из чего следует неизбежный вывод: осознание многоязычия современной культуры есть первое условие успешной трансляции церковно-религиозного опыта в обществе.

В настоящее время речь может идти о том, что дискретное культурное пространство требует языка универсального, каким, в сущности, и является исторический язык Писания, Предания и христианского культурного опыта. Модифицировать этот язык можно лишь до известной степени, поскольку такая модификация требует учитывать тезаурусы очень разных культурных сообществ, то есть должна покрывать все многоязычное пространство современности. Обеспечить равную близость ко всем культурно-языковым системам можно, лишь сохраняя свои собственные исторические особенности. Именно поэтому Церковь тысячу раз права, предупреждая об опасности революционного отказа от церковнославянского языка.

Подход к проблеме в целом требует решения двух смежных задач. С одной стороны, при сохранении языкового ядра, в том числе исторической



стилистики церковного языка, неизбежно возникновение внутри него ряда социолектов. Модель языка Церкви, таким образом, будет выглядеть как *ядерная система*, организованная по принципу «центр — периферия», причем периферийные социолекты как раз и будут соотнесены с горизонтальными иерархиями современного общества и многообразием социокультурных явлений.

Этот принцип в чем-то аналогичен соотношению узальной (нормативной) и окказиональной сфер общелитературного языка. Окказиональная сфера находится за пределами языковой нормы, но при этом может в ряде случаев порождать «потенциальные» слова и конструкции: «Это своего рода новаторство, которое может быть названо естественным, потому что нередко имитирует реальную историю языка, создает, следовательно, факты языка, хотя и небывалые, новые, тем не менее, возможные, а нередко и реально отыскиваемые в каких-нибудь особых областях языкового употребления: например, в древних документах, в диалектах, в детской речи и т. д.»<sup>1</sup>. Представляет немалый интерес существование этих потенциальных форм речевого высказывания, которые строятся по уже содержащимся в языке нормативным моделям, но в качестве актуальных еще отсутствуют на момент анализа. Применительно к нашему случаю можно говорить о разветвлении дискурса в соответствии с традиционными речевыми моделями в рамках церковного языка. «Потенциальный» сегмент церковного языка и его социолектов выполняет не просто описатель-

---

<sup>1</sup> Филологические исследования. Лингвистика и поэтика. М, 1990.

ную, но и онтологизирующую, детерминистскую функцию, то есть «схватывает» и формализует в языке новые явления социокультурной реальности, способствуя их освоению и систематизации.

Следующей задачей церковного языка является функция культурного перевода, посредничества между разными сегментами культурного пространства и множественностью социальных и культурных субъектов, о чем уже говорилось в начале.

Церковный месседж должен быть одинаково интересен и важен для каждой из социокультурных групп. Поэтому главная проблема церковного языка — это проблема перевода. Недооценка этого факта ведет к подмене языка жаргоном, в частности, язык «либерал-православия» может быть описан и изучен именно как жаргон.

Перевод необходим для достижения консенсуса в обществе. Это означает, например, необходимость взаимодействия разных кодов традиции — православного, советского, русского дореволюционного — и взаимный перевод этих кодов в рамках единого русского дискурса. Без выполнения этого условия национальный консенсус невозможен, зато возможно противопоставлять эти коды друг другу, вызывая гражданские конфликты (яркий пример — ситуация с переименованием станции столичного метро «Войковская»).

Задача культурного перевода требует учета культурспецифичности чужого восприятия, умения соотнести эту культурспецифичность с собственной культурспецифичностью. Возьмем хорошо знакомый пример из области этнокультурных различий. Когда мы рассказываем китайской

аудитории сюжет о преломлении хлеба во время Тайной Вечери или сюжет о кормлении семью хлебами, мы вынуждены навязывать свою культурспецифичность — настаивать именно на «хлебе». Иначе образ не сработает, поскольку главное ритуальное блюдо для китайцев — рис, а «разделение риса» воспринимается с трудом и не отражает ни китайскую практику, ни звучание исходных новозаветных мотивов. Рассказывающий как бы «сидится между двух стульев».

Другой пример. Как объяснить без смысловых потерь, почему Бог у христиан спускается к людям и страдает за них, если, с точки зрения других традиций, назначение богов — лишь повелевать людьми?

Так в ходе пересказа мы неизбежно получаем аберрацию восприятия. Единственный выход — это поиск адекватной формы перевода или, что более эффективно, построение такого языка, в рамках которого трудности перевода и информационный шум будут минимальны. По всей видимости, такой универсальный язык может возникнуть лишь на пересечении теологического и общефилософского дискурсов. Это важное условие успешной коммуникации.

Язык философии как наиболее прозрачный и саморефлексирующий и наименее культурспецифичный представляет собой «эсперанто» в мире идеологии, которым неизбежно придется пользоваться Церкви. И здесь мы вплотную подходим к проблеме переосмысления роли и функций религиозной философии, а точнее, религиозно-философского дискурса, который должен быть не квазинаучной

надстройкой над богословием, как религиозная философия рубежа XIX–XX вв., а дополнительным звеном, дополнительной знаковой системой, своего рода контейнером, позволяющим в свернутом (имплицитном) виде перенести религиозно-церковные смыслы в иной социокультурный контекст, в рамках которого эти смыслы успешно распаковываются. *Философская опосредованность* коммуникации, позволяющая обойти множество культурных препятствий, — второе условие трансляции церковно-религиозного опыта в современной культуре.

Важная задача, которая должна быть решена в интересах успешности высказывания, — это *концептуальный анализ языка* (социолекта или идеолекта), на который необходимо совершить перевод в каждом конкретном случае. Изучение любого языка начинается с исследования его концептосферы и модальных конструкций. Для изучения концептосферы церковного языка и «встречных» языков можно использовать подход А. Вежбицкой (в частности, идею «неразложимых семантических единиц») и генеративную лингвистику Н. Хомского (идею порождающей грамматики, модель *hardware structure* и *software structure*)<sup>1</sup>.

Понимание современных проблем в контексте смысла христианского Писания и Предания достигается посредством герменевтического подхода, который позволяет снимать культурные барьеры, «читать» в категориях одной культуры другую или другие культуры. Необходим герменевтический

---

<sup>1</sup> См.: Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996; Хомский Н. Язык и мышление / Пер. с англ. Б. Ю. Городецкого. М., 1972; и др.

подход к концептосфере церковного языка и усилия по осуществлению межкультурного перевода. Эта деятельность требует выполнения ряда условий. Среди них — важнейшее для христианина умение занять равноудаленную позицию по отношению ко всем историческим эпохам, включая современную. Только в этом случае он может с уверенностью ощущать себя находящимся внутри традиции, которая есть явление трансисторическое и не отождествимое ни с концептом «прошлого» (консервативный подход), ни с концептом «современности» (либеральный подход), ни с «золотым веком», ни с «модернити».

Вместе с тем надо избегать и соблазна постмодернистской относительности. Для нас принадлежность к христианской традиции — это не ролевая установка, а тоже часть (частица) этой традиции, достоверный факт. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Аврелий Августин, Дионисий Ареопагит, Григорий Палама, Сергей Радонежский, Александр Невский, патриархи Гермоген, Тихон и Сергей — все они говорили, писали, действовали и пеклись в том числе и «о дне сегодняшнем». В этой убежденности проявляется договор церковных поколений, погруженных в Предание: мы реализуем не только свои помыслы (за которые несем ответственность перед Господом), но и те, что оставили нам наши предшественники. В этой точке берет начало и принцип коллективного спасения (соборности в деле спасения). Ведь очевидно, что тексты Августина были предназначены не только для него и его современников, но и для нашего спасения. Понимая это и пользуясь наследием Августина,

Дионисия Ареопагита, Григория Паламы, мы должны так же промыслительно думать и о следующих поколениях православных верующих. Уклоняться от выбора и действия не в нашей воле, ибо Бог наделил нас талантами не затем, чтобы мы их зарыли в почву той или иной исторической эпохи.

**РУССКИЕ**





## Русофобия

До недавнего времени термин «русофобия» вызывал у думающего человека больше вопросов, чем ответов. Чаще всего этот термин ассоциировался с книгой «Русофобия» академика И. Р. Шафаревича, чье понимание предмета во многом находилось в плену более узкой и специфической темы русско-еврейских отношений. Это запутывало вопрос и мешало рассмотрению русофобии как многоаспектного политического явления.

Сегодня становится все более очевидным тот факт, что русские в XX в. на коротком историческом отрезке повторили отдельные аспекты судьбы еврейского народа. Здесь можно напомнить и о противоестественной разделенности русского народа как состояния, подобного еврейскому понятию «галут» («изгнание», «рассеяние»), а также о геноциде, которому русские (и дружественные им народы СССР), как и евреи, подверглись в XX в. в период этнической войны 1941–1945 гг.

Все эти факты требуют тщательного переосмысления и серьезной корректировки традиционного взгляда на проблему.

\*\*\*

История понятия «русофобия» тянется с XIX в., начиная с хрестоматийных высказываний Федора

Ивановича Тютчева. Если не о термине, то о самом явлении, скрывающемся за ним, так или иначе в разное время говорили славянофилы И. С. Аксаков, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин, писатель Ф. М. Достоевский, историк Н. Я. Данилевский, философ К. Н. Леонтьев, критик Н. Н. Страхов. А в XX в. явление подвергали критике С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, А. Ф. Лосев, Л. Н. Гумилев, Л. А. Тихомиров, М. О. Меньшиков, В. В. Шульгин, И. А. Ильин, И. Л. Солоневич, А. И. Солженицын, И. Р. Шафаревич, В. В. Кожин и многие другие.

Но, несмотря на критику, понимание этого явления с трудом отделялось от бытовой сферы, а сам термин медленно проникал в сознание общества. Тут сказалось стойкое неприятие и отторжение не только слова, но самой темы в целом со стороны либеральной части интеллигенции, наложившей на это направление мысли негласное табу.

О табуировании темы русофобии в общем говорили довольно давно. В частности, его обсуждение было характерно для львиной доли патриотических организаций начиная с конца 1980-х — начала 1990-х. Вот как историк Федор Нестеров описывает ситуацию 1980-х: «Еще в июне того же 1989 года работа И. Р. Шафаревича “Русофобия”, впервые вышедшая из подполья, из “самиздата”, и опубликованная на страницах “Нашего современника”, разъяснила, причем разъяснила, казалось бы, вполне доходчиво, “что же имеется в виду”, но читать ее в среде литераторов демократического направления считалось признаком дур-

ного тона. Читать не читали, в полемику с ее автором не вступали, но осуждать осуждали, причем столь решительно, что становилось очевидным: “приговор окончательный и обжалованию не подлежит”<sup>1</sup>. Так возникал феномен «заколдованного слова».

Можно спорить о достоинствах и недостатках конкретных текстов И. Р. Шафаревича, но сам факт табуирования *темы* сомнению не подлежит. В той же статье Нестерова рассказано, как автор пытался искать определения понятия в словарях и не нашел ничего ни в БСЭ, ни в Советском энциклопедическом словаре, ни в словаре Ожегова, ни даже в Словаре иностранных слов, хотя «англофоб» и «юдофоб» в последнем были найдены. Вследствие табуирования в российском информационном пространстве возник парадоксальный феномен заколдованного слова, который, подобно стелс-технологии, делал невидимой и всю стоящую за ним проблематику. Этот прием позволял сохранить целостность социально-политического дискурса, не перегружая его дополнительной аргументацией, но создавая в нем своеобразное белое пятно, информационную лакуну.

\*\*\*

Однако в последнее время термин «русофобия» звучит все чаще. Еще до начала украинских событий он вошел в официальный российский дискурс. О своеобразном «расколдовывании» вопроса, о снятии эмбарго на изучение темы можно

---

<sup>1</sup> Нестеров Ф. Заклятое слово // URL: <http://www.voskres.ru/idea/nesterov.htm>. Дата обращения 29.03.2018.

было уверенно говорить после выхода в свет аналитического доклада Русского Информационного Центра «Русофобия в России. 2006–2007 гг.», подготовленного депутатами Государственной думы круга Д. О. Рогозина. В этом докладе речь идет, в частности, об административном давлении на общественные и политические русские организации и даже о репрессиях силовых структур против националистов, о русофобском содержании ряда российских законов, о антирусском контенте в СМИ и преследование русских СМИ, о правовой и судебной дискриминации. Не случайно статью 282 УК РФ назвали «русской» статьей. В блогосфере регулярно обсуждается вопрос о вытеснении слова «русский» и попытках заменить его на слово «российский».

Многие наблюдатели отметили употребление термина в речи государственных официальных государственных лиц в 2012 г. — в частности, у С. И. Нарышкина. Последний тогда заявил: «...вряд ли мои стратегические предложения будут услышаны со стороны ряда руководителей Парламентской ассамблеи и ряда руководителей и русофобских делегаций». Характерно, что еще недавно слово «русофобия» в медиапространстве употреблялось в кавычках. Но массовые убийства русских на Украине и введенные против России санкции изменили ситуацию. Высказывания государственных лиц, причем отнюдь не только думских лидеров, становятся более резкими. Тот же С. И. Нарышкин сказал в эфире «Россия 24»: «Я бы весь состав Парламентской ассамблеи разбил на три условные группы. Первая группа — одна треть —

неисправимые, агрессивные, злобные русофобы, и их не вылечить ничем уже»<sup>1</sup>.

Сегодня слово «русофобия» стало для СМИ привычным термином с четкими семантическими рамками и употребляется без кавычек, не как специфически окрашенное и контекстуально обусловленное, а как одно из ключевых понятий политического дискурса.

И здесь возникает закономерный вопрос: каким образом получилось, что слово все время отставало от тех реалий, которые оно обозначало, и роль которых в международных отношениях и внутривнутриполитической жизни России вырастала стремительно? История знает немало примеров, когда то или иное понятие вначале входит в язык — и только после этого носители языка удивляются, как могло случиться, что явление существовало, а названия для него не было. Но чтобы почувствовать абсурдность этой ситуации, обществу приходится преодолеть некий психологический барьер. Именно так и обстояло дело с понятием «русофобия» и его аналогом «антирусизм». Сегодня уже совершенно непонятно, почему в одно и то же время такие термины, как «исламофобия», «юдофобия» или даже «американофобия», употреблялись, а «русофобия» выглядела чем-то экзотическим и посвященные этой теме работы по философии и лингвистике были редкостью.

Сегодня слово «русофобия» воспринимается как привычное и рутинное прежде всего потому,

---

<sup>1</sup> Нарышкин разделил ПАСЕ на три условные группы. // URL: <http://ria.ru/politics/20150130/1045129260.html>. Дата обращения 29.03.2018.

что обозначаемое им явление постоянно бросается в глаза. Общество осознает, что лингвистикой и бытовой ксенофобией проблема не исчерпывается. Она имеет политический и даже геополитический характер. Вполне космополитическая «Википедия» вынуждена не только дать полноценное определение, но и отметить, пусть и очень осторожно, что «по мнению отдельных специалистов, русофобия, в отличие от большинства других национальных фобий, часто выступает как цельная идеология, то есть как особый комплекс идей и концепций, имеющий свою структуру, систему понятий, историю генезиса и развития»<sup>1</sup>.

Есть много примеров русофобских политизированных исторических концепций и откровенных мифов, используемых на государственном и внешнеполитическом уровнях в некоторых странах. Классический политический русофобский дискурс содержит идею возложения на русскую общность вины за преступления части советской элиты, утверждения о «генетическом авторитаризме», «рабском сознании» русских, намеренное непризнание их исторической жертвой. Все это элементы риторической и политической обоймы.

Одним из наиболее ярких примеров такого рода можно считать концепцию украинского голодомора вместо реальной картины голода в разных регионах СССР (Поволжье, Алтай, Украина и др.).

---

<sup>1</sup> URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%EE%F4%EE%E1%E8%FF>. Дата обращения 29.03.2018.

\*\*\*

По нашему мнению, для системной политической русофобии, далеко выходящей за рамки бытовой ксенофобии, больше подходит термин «антирусизм», и по внутренней форме и содержанию более близкий понятию «антисемитизм». И связь здесь отнюдь не только лингвистическая. Сегодня некоторые авторы проводят интересные и важные параллели между русофобией и историческими проявлениями антисемитизма. Например, Александр Хавчин в статье «Русофобия и антисемитизм» утверждает: «Антисемитские и русофобские настроения могут существовать в тесной взаимосвязи, как было, например, в истории Германии, а в наши дни — в некоторых странах Центральной и Восточной Европы, в которых ксенофобия стала уродливым эрзацем национальной идеи. Как евреи, так и русские объявляются действующими заодно врагами польского (украинского, литовского и т. д.) народа»<sup>1</sup>.

Автор указывает не только на сходство, но и на различия в негативном отношении к евреям и русским, а также — и это особенно интересно — на различия коллективных психологических реакций евреев и русских в ответ на агрессию. «За многие века жизни в галуте (рассеянии) у евреев выработались механизмы психологической защиты от проявлений национальной неприязни. Евреям в большей степени, чем русским, свойственна виктимность — осознание себя невинной жертвой — и соответствующее поведение, провоцирующее агрессию». Русские же, по мнению Хавчина, до сих пор очень часто оказы-

<sup>1</sup> URL: <http://berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer9/Havchin1.php>. Дата обращения 29.03.2018.

ваются не готовы к свалившемуся на них бремени. Поэтому, добавим от себя, все еще сильна традиция оправдания русофобии в самой русской среде.

\*\*\*

Жизнь слов неотделима от жизни вещей. Еще в 1990-е было ясно, что положение этнических русских, оказавшихся на территории бывших советских республик в статусе национального меньшинства, с каждым годом ухудшается. Русский язык изгонялся из обращения, русские школы закрывались, трудно было устроиться на приличную работу и рассчитывать на карьерный рост. Кое-где под предлогом политики «натурализации» русские получили статус «неграждан» (Латвия, Эстония). Фактически русские оказывались отселенными в правовое гетто.

Но лишь на Украине в 2014-м дискриминация переросла в геноцид русского населения, организованный на официальном уровне. Процесс набирал обороты постепенно. Российский историк-славист Алексей Ильич Миллер писал в 2007 г.: «Украинцы смотрели на малороссов как на объект просвещения и социальной инженерии, как на исковерканных чужим влиянием»<sup>1</sup>. Но до определенного времени насильственная дерусификация не переходила в прямые репрессии.

Начало вспышке антирусских репрессий положил проект Колесниченко-Кивалова (в просторечии «закон о русском языке»), принятый Верховной Радой до «майдана». Он был сразу же отменен но-

---

<sup>1</sup> Миллер А. И. Дуализм идентичностей на Украине // Отечественные записки. 2007. № 1.



вой, майданной властью. Понимая, что дерусификация будет ужесточаться, в некоторых украинских регионах с русским большинством заговорили о независимости. Участники «неправильных» референдумов за независимость Донецкой, Луганской и Харьковской областей подверглись репрессиям, в ответ на это русские повстанцы сформировали ополчение. Тогда украинская власть, будучи не в состоянии с ходу разгромить и подавить русское движение, начала обстрелы мирных кварталов, а затем блокаду населения ДНР и ЛНР.

Заметим, что сама Украина получила в 1991-м независимость по первому требованию и свободно вышла из состава СССР, но отказала в аналогичном праве русским Новороссии в 2014-м.

Сегодня дерусификация Востока Украины осуществляется сугубо военным путем. Причем программа «освоения» территории Донбасса предполагает уничтожение и выселение его жителей, этнических русских. По тому, как ведут войну ВСУ, видно, что их основная задача состоит не только в том, чтобы победить ополчение, но и в том, чтобы сделать территорию непригодной для жизни. Это разрушение коммуникаций (подачи воды и проч.) и блокада населения народных республик Новороссии, напоминающая блокаду Ленинграда. Война с населением, которое Киев до сих пор продолжает считать «своим», укладывается только в одну логику — логику геноцида.

О том, что Киев считает русских Новороссии «генетическим мусором» и «недолюдьми», известно из заявлений официальных лиц (того же Яценюка) и украинской пропаганды. На официальном укра-

инском радиоканале журналист Буткевич называет население Донбасса лишними людьми, из которых надо оставить в живых только 1,5 млн — меньшую часть. В качестве аналогии этого заявления можно взять рассуждения западных лидеров, которые считают население России слишком многочисленным. Кто называет желаемый демографический «потолок» в 40 млн, кто — в 15 млн. Собственно, эта ситуация возникла не сегодня. Еще Йозеф Геббельс говорил: «Русские — не народ в общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающий ярко выраженные животные черты». Вот реплика Рамона Серано Суньера, министра иностранных дел франкистской Испании: «Уничтожение России — требование истории и будущего Европы». А вот что говорит Геннадий Корбан, правая рука Игоря Коломойского по бизнесу: «Украина должна превратиться в Латвию. Латвия ненавидит Россию. Поколения должны ненавидеть Россию, именно ненавидеть...» Киевский кабинет стремится превратить страну в «европейский бронезилет», «границу западной цивилизации», «форпост против восточных варваров» и все время твердит о «конфликте менталитетов». Это матрица любой ксенофобской идеологии, возведенной на политические высоты.

\*\*\*

Фашизм не бывает направлен во все стороны одновременно. У современного неофашизма, как и у германского фашизма XX в., есть определенный объект: русская общность. Непонимание и замалчивание этого факта в России ведет к серьезным последствиям для будущего русской нации.

В такой ситуации особенно опасны проявления русофобии в самой России. В частности, безответственные высказывания ряда маргинальных общественных и культурных деятелей в поддержку геноцида русских на Украине, презрительное название 85 % национально и консолидировано мыслящих людей «проблемой для страны». Телеведущая Ксения Собчак позволила себе назвать русских «быдлом», а Россию — «страной генетического отребья». Это прямой повтор позиции украинских политиков, называвших жителей восточных областей страны «недолюдьми» и «генетическим мусором». Певец Андрей Макаревич рассуждает о русских как о «нации с повадками кочевников». Это единая стилистика и единый почерк. Подобные высказывания должны получать резкое моральное осуждение. А в ряде случаев необходимо задействовать и 282-ю статью о разжигании национальной розни.

Люди, склонные к такого рода высказываниям, переступили моральную грань в тот страшный день, когда десятки антифашистов сгорели в огне Одесской Хатыни, а носители маргинальных политических взглядов оправдали эту расправу.

Важный итог 2014 г. состоит в том, что русофобия полностью выработала свой ресурс, утратила легитимность в русской среде, за исключением компрадорского слоя. Подавляющая часть общества осуждает русофобские взгляды. Их носители уже не могут рассчитывать на уважение нигде, кроме как в своем узком кругу. Но это не должно расхолаживать. Необходима упорная просветительская деятельность и формирование стандартов изучения

истории, дающих представление об огромных жертвах, понесенных русскими за последнее столетие.

\*\*\*

Из уст украинцев нередко приходится слышать примерно следующее: «Россияне — это бывшие “русские”».

Мы прекрасно понимаем, что война Украины с русскими — это и война за русское историческое наследие. У русских стремятся отнять домосковский период истории Руси, хотя эта установка украинской историографии частично поколеблена возвращением в Россию Херсонеса. Крещение Руси, преодоление Смутного времени, Победа 1945 г., возвращение Херсонеса и Севастополя в 2014-м — все это интегрирующие смыслы единой русской истории. И именно эти элементы русского дискурса сегодня чаще всего попадают под удар.

Но русско-украинский конфликт — это лишь внешний, поверхностный слой проблемы. На глубинном уровне европейская русофобия связана с византийским наследием и русским образом «другой христианской Европы», который вызывает в западном сознании страх потери целостности, страх распада общеевропейской Я-концепции. Это эффект «расколотого Я». Именно поэтому западное экспертное сообщество стремилось и стремится переместить историческую Византию из парадигмы «запада» в парадигму «востока» и представить Россию восточной, азиатской страной. Это вытеснение нежелательного содержания коллективного сознания, подобное «вытеснению комплексов», описанному психологами. Ведь если признать су-

ществование другой Европы, придется признать и то, что их нынешние ценности (не христианские, а ценности секулярного модерна и постмодерна) не универсальны.

Следует еще отметить, что наряду с традиционализмом, эссенциализмом и отрицанием номадической стратегии «конструирования идентичностей» негативную реакцию многих западных интеллектуалов вызывает популярность в России эгалитарных идей и социальных моделей, причем не в конструктивистской версии западных социалистов, а в органических формах византийской наследственности и потому соединенных с традиционализмом, а не противостоящих ему на либертарианский манер.

\*\*\*

«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» определяет положение русского народа в России в качестве «системообразующего ядра».

В начале 2014 г. президент России В. В. Путин справедливо назвал русский народ крупнейшим разделенным народом мира и напомнил о необходимости защиты русских общин за границей. Парадокс ситуации заключается в том, что *государствообразующий* народ является в то же время *разделенным* народом. Идея, которая запустила процесс исторического воссоединения русских, называется ирредентизм — слияние, воссоединение частей одного народа.

Понятие «ирредента» само по себе означает национальное меньшинство, населяющее территорию, отделенную от государства, в котором живут его со-

отечественники, государственной границей, то есть примыкающую к «большой родине», но по тем или иным причинам находящуюся в составе другого, иностранного государства. Обычно причиной такого неестественного состояния является совершенная ранее аннексия в результате войн, оспаривания границ или колонизации. Иными словами, меньшая часть народа отселяется от большей принудительно, вместе со своей землей.

Историческая территория, на которой существует сегодня русский народ, включает в себя не только пространство внутри государственных границ России, но и ирреденту — территории исторического проживания. В официальном дискурсе это в целом принято называть «русским миром». Но семантические границы понятия еще не до конца устоялись, поэтому во избежание ошибок попытаемся дать ему простое и строгое определение.

Определение русского мира основано на двух критериях.

1. Русский мир — это совокупность людей, для которых независимо от места проживания русский язык и русская культура являются основными, то есть полученными в процессе воспитания.

2. Исключение составляют те, кто по тем или иным причинам сознательно относит себя к какой-то другой нации.

Необходимо понимать, что границы русского мира подвижны. Например, нынешняя Украина представляет собой лоскутную империю, сшитую из разных наций наподобие исторической Австро-Венгрии (правда, в Австро-Венгрии, распавшейся век назад, не было массовых убийств националь-

ных меньшинств). При этом, согласно социологическим опросам, сегодня на Украине 80 % людей говорят и думают по-русски. Но это пока. Если немногие еще оставшиеся на Украине русские школы будут умышленно закрывать, русский язык не вернет себе статус второго национального, число людей, думающих и изъясняющихся на русском, будет уменьшаться, и их историческая связь с Россией оборвется.

Эта ситуация насильственной дерусификации во многом и подтолкнула русский ирредентизм на Украине, который в нормальных условиях мог бы иметь другие формы или не возникнуть вовсе. Сказанное касается в первую очередь территории исторической Новороссии. То, что произошло в 2014 г. в Крыму и в Донбассе, есть проявление ирредентизма. Русское общество и государство должны до конца прояснить ситуацию и признать Беловежские решения 1991 г. нелегитимными. В противном случае останется неясным, почему крымчане имеют право на исторический выбор, а русские жители ДНР и ЛНР, проголосовавшие на референдумах за независимость республик, его лишены.

На примере Новороссии хорошо видно, чем ирредента отличается от «диаспоры» — национального меньшинства, которое возникает в результате добровольной миграции и не занимает исторически принадлежавшую ему территорию. Казалось бы, греческое слово «диаспора» близко по значению к еврейскому «галут», тоже «рассеяние». Но здесь есть существенная разница. Галут — не добровольная миграция, а принудительное разделе-

ние, постигшее евреев после взятия Иерусалима Навуходоносором II и последовавшего затем Вавилонского плена (586 г. до н. э.).

Появление ирреденты — тоже результат насильственных действий, но в данном случае они проявляются в дроблении народа *вместе с территорией* его проживания и нередко (хотя и не всегда) равнозначны оккупации.

В связи со всем сказанным следует обратить внимание на историческое различие антисемитизма и антирусизма (политической русофобии). Последствия антирусизма проявились в разделении не только народа, как это было в еврейской истории, но и страны его первоначального проживания (России и СССР). Преодоление этого разделения — важнейшее условие восстановления русскими своей исторической субъектности.

\*\*\*

Русские являются одним из народов, подвергшихся в XX в. геноциду. Число евреев, уничтоженных гитлеровцами, — более 6 млн человек. В том числе их казнили и служащие вермахта в годы войны. Теперь вспомним цифру потерь среди наших соотечественников и вычтем из нее число погибших солдат. Останется внушительная цифра. Вот эти потери русской нации так и не были возмещены. Важно понимать, что эти люди не являются обычными жертвами войны. Со стороны Третьего рейха это была именно этническая война; Гитлер и его окружение этого не скрывали. Они выполняли план Прусского комитета по «внутренней колонизации», разработанный задолго до прихода Гитлера к власти.



Следует помнить, что в Третьем рейх войну с СССР также считали «этнической» в рамках плана «Ост» по зачистке «восточных территорий». Известно, что цифра потерь русского народа во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. огромна. И речь идет не только о солдатах, но и о гражданском населении.

В определении значения Великой Отечественной войны пора задать четкие смысловые рамки. Это поможет разделить в сознании российского общества два совершенно разных понятия — Вторая мировая война с несколькими участниками и несколькими политическими договорами по разделу Европы (германо-польский договор о «дружбе и сотрудничестве», аншлюс Австрии, Мюнхенский пакт, он же — раздел Чехословакии 1938 г., пакт Риббентропа — Молотова 1939 г. и др.) и Великая Отечественная война против гитлеровского альянса стран, совершивших агрессию с целью этнического геноцида и колонизации территории СССР.

Только признанием русского геноцида мы сможем извлечь уроки как из недавней, так и из ныне совершающейся истории. Эти уроки очень важны именно сейчас, когда в мире произошла реабилитация фашизма и практически выдана лицензия на уничтожение русских. Если евреи уже пережили свою Катастрофу, то русские продолжают переживать ее. Русская Катастрофа, по всей видимости, должна получить собственное имя, имеющее корни в русской языковой традиции. Вполне возможно, это будет слово «*плаха*» («эшафот», «место казни», переносное разговорное — «смертная казнь»).

Вот только исполнения приговора мы еще можем избежать. И казнь может стать профанацией, если мы сами в это поверим, — как это описано Владимиром Набоковым в «Приглашении на казнь»:

«И уже побежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинциннат стал считать: один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета — и с неиспытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием все его естество, — подумал: зачем я тут? отчего так лежу? — и задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся <...>. Цинциннат медленно спустился с помоста и пошел по зыбкому сору. Его догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родриг: — Что вы делаете! — хрипел он, прыгая. — Нельзя, нельзя! Это нечестно по отношению к нему, ко всем... Вернитесь, ложитесь, — ведь вы лежали, все было готово, все было кончено! Цинциннат его отстранил, и тот, уныло крикнув, отбежал, уже думая только о собственном спасении. Мало что осталось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли».

\*\*\*

Русофобия имеет три аспекта — политический, академический и социокультурный.

В рамках текущей политики нам нужны срочные, безотлагательные действия по защите русских внутри и за пределами страны.

В академических рамках необходимо внимательное изучение русофобии как исторического явления.

Третья задача, которая стоит перед нами, — восстановление стертой русской идентичности. Необходимо четко сформулировать роль русского языка, русской культуры и русского православия в этом процессе. Наблюдения за уровнем русофобии в России выявили две противоречивые тенденции. С одной стороны, на фоне политических событий на Украине вырос уровень русофобии среди компрадорской части «креативного класса». С другой стороны, подавляющая часть общества сегодня решительно осуждает русофобские взгляды, утратившие остатки легитимности на фоне антирусских репрессий на востоке Украины. Согласно нашему прогнозу, в краткосрочной и среднесрочной перспективе носители русофобских взглядов будут маргинализироваться, что в свою очередь вызовет радикализацию их взглядов. Такое сочетание тенденций может привести к гражданскому взрыву, который необходимо предотвратить.

Меры, которые позволили бы избежать этого страшного сценария, включают в себя постоянный мониторинг ситуации, контроль правоохранительных органов за проявлениями русофобии, поддержание атмосферы морального осуждения русофобии в обществе и медиасфере, просветительские усилия государства в этом направлении.

Требуется поиск, систематизация и архивирование случаев русофобии в России, а также за рубежом в местах компактного проживания русских, мониторинг общественного отношения к ущемлению прав русских в России и за ее пределами.

Русофобия является одним из проявлений экстремизма, это следует признать на официальном

уровне и поддержать применением в ряде случаев статьи 282 УК РФ («о разжигании ненависти либо вражды»). Русофобия должна быть запрещена законом точно так же, как запрещена героизация нацизма. Поскольку острое неонацизма направлено против русского общества, мы имеем полное право на эти меры самозащиты.

Очень важно соблюдение этической и политической корректности по отношению к русскому национальному достоинству, моральное осуждение идей о «генетическом авторитаризме», «коллективном покаянии» и т. п.

Среди первоочередных задач — доведение до общественности фактов русофобии, признание статуса русских как «народа-жертвы» и «разделенного народа», определение ущерба, понесенного русскими в XX—XXI вв. Необходимо признание войны 1941—1945 гг. геноцидом русских и дружественных им народов СССР.

Необходимо выработать и предложить обществу конкретные меры по компенсации демографических и культурных потерь XX—XXI вв. Речь идет о так называемых аффирмативных действиях (режим благоприятствования в отношении дискриминированных групп).

Критически важно преодоление информационной блокады в самой России. Лишь кардинально изменив информационную повестку в СМИ, а также содержание школьного и вузовского образования, можно защитить национальное достоинство и сохранить общество. В самое ближайшее время необходимо сформировать программу научных исследований проблем русской идентичности.

Интересы русского общества требуют разработки и концептуализации понятий «русофобия», «русская нация», «русская идентичность», «русский мир», «русская земля». В рамках гуманитарных и общественных исследований необходимо изучение геноцида русских в истории, а также международного опыта и международной практики по защите национальных прав.

Необходимо признание русским национальным достоянием православных святынь Москвы, Херсонеса и других городов, каковые святыни имели прямое и непосредственное отношение к становлению национальной идентичности.

Важной инициативой может быть проект закона о национальном примирении. Пришло время прекратить исторические распри верующих и атеистов, староверов и православных, представителей бывших «белых» и «красных». Забыв историческую гордыню, поклонники советского и дореволюционного периода должны объединиться перед общими вызовами.

Процесс восстановления русской национальной субъектности критически важен. В условиях информационной и экономической войны он позволит эффективно защитить Российское государство. Нация либо вновь обретет себя, либо начнется ее необратимый распад.

## Похищение русской идентичности

**Н**есколько лет назад немецкий канцлер Ангела Меркель сделала заявление, которое породило много эмоциональных и противоречивых откликов. Причем отклики российских экспертов оказались даже более эмоциональными, чем оценки их западных коллег. Речь шла о конце эпохи мультикультурности. Одни комментаторы увидели в признании госпожи Меркель «уступку антимигрантским настроениям», другие — восстановление прав коренных европейцев. Но сегодня очевидно, что публичный жест Меркель был началом отсчета новой эпохи. Правила игры в глобальном мире уже тогда начинали меняться.

\*\*\*

Мультикультурность отправили в утиль не потому, что мигранты оказались трудновоспитуемыми, а потому, что в мировой политике пришло время кардинального поворота и переоценки ценностей. Глобальный проект достиг своих пределов и был поставлен под сомнение. Начался откат — разумеется, на условиях и к выгоде глобализаторов, которые намерены поколебать основы миропорядка «сверху», пока они не поколеблены «снизу». Для этого они вынуждены «поджигать» мировую периферию.

В таких условиях мир архаизируется и возникает новый запрос на идентичность и традицию. Вот что на самом деле имела в виду фрау Меркель. Переоценка ценностей уже происходит. Одним из ее итогов стал «коричневый» переворот в Киеве и фактическая реабилитация фашизма западными элитами. Избитая фраза «после Освенцима нельзя писать стихи» теперь выглядит как мрачный каламбур. Но ответом на архаизацию неолиберального мира является встречный рост пассионарности, который также имеет в своей основе идентичность и традицию.

Идентичность принято определять через «квадрат идентичности» — набор известных параметров: язык, конфессия, культурная принадлежность, общая историческая судьба. Но если перевести смысл понятия «идентичность» на язык психологии, получится нечто вроде коллективной Я-концепции — то есть ответа общества на вопросы «кто мы, откуда и куда идем?». Осознание своей исторической миссии.

Сегодня в политическом споре выигрывает тот, чья идентичность более прочна и устойчива. И наоборот: кризис идентичности ведет к утрате геополитических позиций в мире. Период, связанный с дроблением государств, регионализацией, искусственным конструированием идентичностей (например, бывшая Югославия), заканчивается. Растет значение региональных союзов, рынков и валют. Симулякры глобального космополиса уступают место процессам реального этногенеза и национализма. С этой точки зрения следует смотреть и на возвращение Россией Крыма, и на успех фундамен-

талистских движений на Востоке, и на рост национально-консервативных, радикально националистических и нацистских идей в Восточной Европе. Не исключена новая волна суверенитетов: вслед за возвращением Крыма последовали попытки референдумов в Шотландии и Каталонии. И эта тенденция сохранится.

Мир вновь возвращается к нерешенным проблемам XVIII в., связанным с доминированием формата *nation state*, конфликтом секулярного и религиозного. Национальные общности вновь становятся главными акторами истории. Поэтому идентичность и традиция «растут в цене» и составляют капитал, который гарантирует устойчивость в современном мире. Идентичность и традиция получают право на прямое политическое высказывание. Происходит это там, где финансово-экономическое регулирование не срабатывает. Некоторые, прежде всего США, ухитряются использовать в своих целях пассионарный заряд чужой идентичности (война на Украине). Для наций наступило время, когда уже поздно задавать себе гамлетовские вопросы.

\*\*\*

Обратимся к русской традиции и русской идентичности. Мы можем дать их развернутую формулу, состоящую из ряда компонентов — таких, как православная этика, социальная справедливость, социальное равенство, примат морали над правом, демократический централизм. Дореволюционный мир и мир советский, исторически сошедшие в непримиримой схватке, имеют, тем не менее, общие корни и одинаково отражают русскую идентичность.



В ее основе лежит императив поисков или построения «царства правды», где всякий человек нужен, никто не лишний, никто не строит свое счастье на несчастье другого, все объединены духовными узами и общими задачами. Образ «Святой Руси» как «сосуда истинной веры» и образ социальной справедливости, «общества равенства и братства» — разные проекции этой идеи, части одного целого. Восходит эта идея к концепции Третьего Рима и византийскому наследию и представляет собой то общее, что не может расщепить до конца даже революция.

Цели общественного строительства (советский социализм) и коллективного спасения (соборность) — это расходящиеся вариации на одну и ту же тему. Режимы и правительства приходят и уходят, секулярность и религиозность сменяют друг друга в самых причудливых формах, идеология меняет знаки, а эта *эсхатологическо-эгалитарная византийская матрица* остается в исторической памяти. Она — неделимое целое. И гражданская война, как ни странно, лишь подчеркивает это единство. Трагичны не исторические катаклизмы сами по себе, трагичны исторические разрывы, которые их вызывают. История России знает разрывы между справедливостью и традицией, религиозностью и атеизмом... Разрывы эти должны срастись, прежде чем русская идентичность ослабеет и мы утратим свою историческую субъектность.

Сегодня тема русской идентичности вызывает много вопросов. Постсоветская модель компрадорского капитализма по всем параметрам, структурным и ценностным, является постпротестантской. Поэтому она находится в глубоком противоречии

с реальным историческим опытом народа (в отличие от «опыта господства» правящего класса). В 1990-е и 2000-е годы русская идентичность расшатывалась и слабела. Советская модель развития, скрепляемая идеей полиэтничной нации и социального государства, безусловно, является неотъемлемой частью русской традиции. Но она была отвергнута правящим классом и уступила социал-дарвинистской модели и социальной евгенике («умри ты сегодня, а я завтра»).

Похищение советского компонента русской идентичности осуществили постсоветские «элиты», значительную часть которых, между прочим, составляли переродившиеся представители второго-третьего эшелонов советской партийной номенклатуры. Важная часть исторического опыта народа была перечеркнута. Лозунг «десоветизации» объективно направлен не против отдельно взятого «советского», а против всей русской традиции и национальной исторической преемственности. Нечто похожее происходило и в первые годы советской власти, когда рушился не только старый политический режим, но и культурные основания дореволюционной России. Нередко трагедия повторяется в истории именно как трагедия, а не как фарс.

Россия после 1991 г. остается чем-то вроде детского конструктора, наспех собранного с помощью либеральных технологий. Следует отметить, что комплекс либеральных идей в России был превращен в культ и его до сих пор путают с национальной идентичностью, хотя на либеральном Западе этой подмены понятий не существует. Там идентичность и традиция всегда рассматриваются как неприкос-

новенный исторический ресурс, а либерализм, консерватизм, социализм — только как политические инструменты.

У российских элит вместо рационального присутствует квазирелигиозный взгляд на эти вещи. При этом Россия имеет огромное население со стертой, нечеткой идентичностью. Это касается 85% — того самого «закрымского» большинства. Оставшиеся 15% принадлежат к «креативному классу» — привилегированной прослойке, занимающейся производством моделей потребления — моделей, не сводимых только к сфере материально-торгового обмена. Одной из таких моделей является образ негативной российской идентичности, основанный на комплексе исторической неполноценности. Эта компрадорская версия идентичности предполагает вытеснение из коллективной памяти традиционных сакральных смыслов русской истории. Отсюда издевательства либеральной прессы над людьми, причастными к акции «Бессмертный полк», которая впервые состоялась 9 мая 2015 г.

\*\*\*

Результатом навязывания негативного образа идентичности стала дезориентация русского общества. В этой ситуации реальная идентичность слабеет, стирается, дробится. Так, в современной России поощряется разрыв советского и антисоветского, «красных» и «белых», секулярного и религиозного, «староверов» и «никониан». На месте каждого такого разрыва возникает вакуум идентичности. Фрустрированность, ощущение экзистенциальной пустоты общество стремится заполнить любой

ценой. В этом состоянии народу легко навязать мифы о нем самом. К числу таковых можно отнести мифы о коллективной исторической вине, о неспособности русских к самоорганизации, об их «генетическом рабстве» или даже о склонности к «фашизму». Впрочем, на фоне геноцида русских на Украине последний миф успел заметно «сдуться» в глазах общества.

Так формируется ложное сознание, и формирует его компрадорская часть креативного класса, называющая себя «гражданским обществом», но объективно разрушающая основы реального гражданского общества. Аналогичная ситуация уже складывалась в России в начале 1990-х, сейчас она повторяется и может иметь не менее серьезные последствия.

Кризис русской идентичности ощутим и в Новороссии. Вообще, если говорить о русском национально-освободительном восстании на Юго-Востоке Украины, надо отметить, что его слабая организация объясняется не только военно-политическими и экономическими причинами, но и стертой идентичностью большинства жителей Харькова, Одессы, Донецка, Луганска. В основном эти люди не обладают специфической украинской ментальностью. Этот вакуум мог бы быть заполнен иными ценностными содержаниями, но культурная и духовная принадлежность этих регионов к русскому миру четко не сформулирована и в самой России.

Сказанное свидетельствует о том, что все российское общество, включая ирреденту Новороссии, переживает глубокий кризис идентичности, в составе которой остается ряд невосполнимых лакун. Это лишает страну серьезных позиций на международ-

ной арене и провоцирует в России рост русофобии (прежде всего в среде «креативного класса», чуткого к политической конъюнктуре). А также ведет к дальнейшей эрозии общих ценностей, релятивизму, карнавализации важных идей и символов (например, празднования Дня Победы), к вытаптыванию символического пространства общества — той питательной среды, в которой как раз и живет идентичность.

\*\*\*

Но главную и по-настоящему смертельную угрозу русским как национальной общности несет соседний киевский режим. Абсурдная ситуация одновременного существования фактически двух враждебных друг другу «Россий» устраивала как российский, так и украинский олигархат. Разумеется, случались обострения тлеющего конфликта. Например, свержение украинскими спецслужбами законно избранной власти крымской русской автономии в лице ее президента Юрия Мешкова или «майдан» 2004 г., который сделал русофобскую политическую концепцию официальной идеологией Киева. Новым обострением холодной русско-украинской войны стала борьба за статус русского языка. В 2012 г. в Верховной Раде стараниями Партии регионов прошел так называемый закон о русском языке Колесниченко-Кивалова, расширявший права русских Украины, по крайней мере в языковой сфере. И буквально первое, с чего в 2014 г. начала свои шаги новая, майданная власть, — это попытка отменить закон о русском языке, что и стало детонатором восстания на Юго-Востоке. Произошли разморозка конфлик-

та и его переход в горячую фазу межнациональной гражданской войны. В Новороссии родилось национально-революционное движение, а Киев превратил Украину после «майдана» в единый военный лагерь. Ситуация хорошо отражена в киевском еженедельнике «Деловая столица» в статье с красноречивым названием «Как вычистить русский мир». Этот материал достоин обширной цитаты.

По мнению автора еженедельника, необходимо «во-первых, не дать вернуть в повестку дня расколническую тему русского языка как второго государственного. Сделать это попытаются многие (выборы на пороге), но поскольку тема напрямую связана с подогреванием сепаратистских настроений, правоохранительные органы могут (если получают команду) пресекать москвофильство на корню. Недопустимо, чтобы агентура Кремля, годами работавшая против Украины, опять зарабатывать баллы на теме официального двуязычия. Во-вторых, следует обеспечить постепенную дерусификацию учебного процесса. <...> Уже дети тех, кто не изучал русский язык, не чувствуют ни малейшей сопричастности с “русским миром”. Также требуется выдавливание русского языка из СМИ и ограничение русской попсы на FM-станциях и музыкальных каналах. <...> Придется заняться ограничением российской книгопечатной продукции. <...> Из топонимики городов и сел должны исчезнуть названия советской эпохи»<sup>1</sup>.

Это ситуация пассионарного взрыва, если называть вещи своими именами. Правда, эта пассио-

---

<sup>1</sup> День настоящей независимости // Деловая столица. URL: <http://www.dsnews.ua/world/den-nastoyashchey-nezavisimosti-19082014062100>. Дата обращения 29.03.2018.

нарность завязана на откровенно фашистскую идеологию превосходства и выражается в системном геноциде. Другой пример. Как оценить ситуацию, при которой «Сергей Квит, ныне заделавшийся министром образования и науки Украины <...>, — сотник входящей в состав “Правого сектора” организации “Тризуб Степана Бандеры”»<sup>1</sup>? Мы, разумеется, можем произнести все полагающиеся правильные слова о неофашистской сущности «Тризуба» и майданных сотен. Но это не поможет русским Украины защититься от культурной и этнической агрессии.

Если «отжать» ситуацию до голой прагматики, придется констатировать: нынешняя Украина — успешно перешедшее на военные рельсы сверхцентрализованное государство, а украинская власть доверяет своим пассионариям, то есть наиболее сознательным носителям украинской идентичности.

Российское общественное мнение воспринимает происходящее просто как войну в соседней стране. Украинская сторона воспринимает события не как гражданский межнациональный конфликт, а как войну с Россией и русскими, с русской национальной общностью. Согласно украинским социологическим исследованиям (2014–2015 гг.), около 63 % респондентов одобряют проведение АТО и при этом около 40 % уверены, что Украина воюет именно с государством Россия (данные КМИС — Киевского международного института социологии).

Таким образом, со стороны Украины это классическая этническая война, подобная той, что была

---

<sup>1</sup> *Бабич Д.* «Новая» Могилянка: из «борьбы с москалями» — безбожие // URL: [http://www.religare.ru/2\\_104653.html](http://www.religare.ru/2_104653.html) . Дата обращения 29.03.2018.

начата Германией в 1941 г. Но 75 лет назад обе воюющие стороны одинаково хорошо понимали, что происходит. А сейчас с русской стороны такого понимания не наблюдается. Непонимание реальной ситуации грозит русским поражением, несмотря на все военно-техническое превосходство.

\*\*\*

Вроде бы на это можно возразить: да мало ли в мире стран, которые придерживаются русофобского курса во внешней политике? А разница между тем огромная. Русофобия этих государств, пусть даже очень глубокая и застарелая, является все же ситуативной. Она диктуется только их политическими интересами и не составляет самой основы государственности этих стран, а тем более идентичности их народов. У Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Англии есть множество других забот и исторических задач помимо «русского вопроса». У каждой из этих стран есть своя уникальная историческая традиция; некоторые из них даже входили в число республик СССР и воспринимают этот период как «годы оккупации». Тем не менее интеллектуалам этих стран вовсе не приходится громко доказывать тот очевидный факт, что, например, «Латвия — не Россия». Человека, стоящего в пикете с таким лозунгом, сочли бы, пожалуй, не вполне здоровым. А вот бывший президент Леонид Кучма мог позволить себе назвать главный литературный труд своей жизни «Украина — не Россия». Разумеется, это возможно лишь в случае, когда выдвигаемый тезис неочевиден.

Этот признак указывает на то, что Украина, безусловно, является не обычным национальным госу-



дарством с собственной исторической идентичностью, а чем-то принципиально иным. Украинская идентичность также представляет собой довольно странное явление. Нередко ее носителей причисляют к разряду так называемых «проектных этносов». Речь идет о бывших русских («малороссах»), переставших быть русскими в силу внешних политических факторов, да еще принуждающих перестать считать себя русскими тех, кто такого «волевого решения» не принял (новороссов, крымчан). Украинский сюжет в этом смысле напоминает историю с хорватами, которые перестали быть сербами, перейдя в католичество. Хорватская идентичность включает в себя сильнейший комплекс отторжения и ксенофобии по отношению к сербам — бывшим «своим», ставшим «другими» и враждебными. Так подчеркивается инаковость, так работает национальное чувство. Неудивительно, что в ходе Второй мировой войны зверства хорватских усташей по отношению к сербам поражали даже эсэсовцы.

Аналогичную ситуацию мы имеем сегодня на Украине. И если население бывшей Галиции действительно представляет собой самостоятельное национальное целое с австро-венгерским и польским прошлым и ее конфликт с «русским миром» в большей степени напоминает бракоразводную процедуру, то с бывшими малороссами ситуация иная. Им есть что делить с русскими.

Понять причудливую «зеркальную» логику русско-украинского конфликта на самом деле не сложно, если не упускать из виду элементарный исторический факт, что украинцы, в отличие от галичан, — бывшие русские. Литературные памятники

Киевской Руси, единоличными наследниками которой хотят считать себя нынешние украинцы, написаны на древнерусском языке. Чтобы в этом убедиться, достаточно открыть «Слово о полку Игореве» в оригинале. На украинских купюрах любят изображать Ярослава Мудрого, но свод законов, составленный Ярославом, назывался «Русская правда» и был сводом законов Древней Руси. Разумеется, переписывание идентичности, которое сделало русских украинцами, произошло не само по себе и не просто так. Но не будем углубляться здесь в историю украинства, напомним лишь, что само слово «Украина» («окраина»), по мнению большинства специалистов, не украинского и не российского, а польского происхождения.

Если попробовать охарактеризовать украинскую нацию в соответствии с критериями классического «квадрата идентичности», мы обнаружим, что критерии не выполняются. Язык — изначально русский. Религия — православие, вплоть до начала распространения греко-католицизма. Памятники культуры и литературы за редким исключением тоже русские. Например, Н. В. Гоголь писал отнюдь не на украинском. Общность исторических задач тоже очевидна, несмотря на заявления Арсения Яценюка о том, что СССР оккупировал Украину вместе с Германией.

Интересно, что украинская негативная идентичность напоминает российскую постсоветскую, также построенную на негативных основаниях. В запасе у Украины сегодня нет ничего кроме русофобии. Конечно, если не считать локальной галицийской культуры, не имеющей с малороссийским украин-

ством ничего общего, и этот неприятный парадокс украинцам еще предстоит обнаружить и пережить. Россия и русский народ, напротив, имеют за спиной столетия национального развития в имперском формате. Это огромный плюс. Но этот плюс содержит внутри себя и минус: имперская бюрократия по определению антинациональна. Российский правящий слой то и дело понуждал народ отказаться от своего исторического опыта. И этот фактор наносил урон русской идентичности, разрушал национальную традицию. Российский постсоветский самообраз противопоставлен собственной традиции, собственному историческому «я». А вот деструктивный вектор украинизма, в отличие от российского, направлен не вовнутрь, а вовне, то есть на «москалей», «монголоидов», этнических русских Юго-Востока, что и привело в 2014 г. к геноциду русских и этническим чисткам.

Концептуализация украинской общности является политическим конструктом, который, как мы видим сегодня, включает в себя ощутимый элемент неонацизма. Без этой архаичной составляющей Украина просто не могла бы сохранять целостность. Украинцам приходится постоянно доказывать себе и миру свою особую идентичность в виде активной и открытой формы русофобии. И, как мы уже отмечали, склонять к аналогичному подходу новороссов, то есть насильно переписывать их идентичность. Когда же это переписывание буксует — резать по живому в буквальном смысле этого слова.

Каковы же альтернативы этому процессу в исторических условиях? По мнению Армена Асрияна, «рано или поздно (скорее, очень рано) это породит

не только махновщину по всему Центру и Северо-Западу, но и слезные просьбы малороссов назад в Россию... “Украинизаторы” все это прекрасно понимают. Именно этим, а отнюдь не “безумной нерассуждающей русофобией”, объясняется террор против Новороссии. Федерализация с четко прописанными гарантиями для Новороссии останавливает антирусский террор — и тем самым, несмотря на сохранившуюся “территориальную целостность”, останавливает этногенез и запускает механизм превращения территории исторической Украины в бескрайнее Гуляй-поле»<sup>1</sup>.

\*\*\*

Если мы захотим назвать дату начала *открытого* русско-украинского конфликта, мы с ходу ответа не найдем. Так или иначе мы придем к тому, что этот конфликт начался сразу после обретения Украиной независимости. То есть сразу после развала Союза и подписания Беловежской капитуляции.

Казалось бы, парадокс: Россия отпускает Украину, ничего за это не требует, даже оставляет Крым и другие нажитые ею за время пребывания в СССР территории. Вроде бы отношения начались с чистого листа, без претензий. Откуда тогда оголтелая русофобия? Почему украинские политики идут на выборы, обещая электорату «укреплять отношения с Россией», а едва заняв свой пост, начинают говорить об ограничении русского языка, западных стандартах, интеграции в ЕС и вступлении в НАТО?

---

<sup>1</sup> Асриян А. Зачем Украине Новороссия? // Правда-ТВ. ru. 09.01.2015. URL: <http://www.pravda-tv.ru/2015/01/09/114585>. Дата обращения 29.03.2018.

Здесь кроется ответ на главный вопрос украинско-русских отношений. Русские в глазах части украинства будут виновны всегда. Независимо от того, как они себя ведут и что они делают. Просто потому что они есть. Собственно украинцы затем и отделялись, чтобы начать *открыто* противостоять русским, создав таким образом удобную кормушку для элит, которые едят с руки как западных покровителей, так и российских «партнеров». Антимоскальство — хлеб самой украинской идентичности, ее единственная смысловая опора. Ведь, отказываясь от русского мира, украинцы оказываются в историческом вакууме, как бы в пузыре времени, и этот вакуум надо заполнить. Чем? Только «русизмом наоборот». Убить в себе русского — это и значит стать украинцем. Вот почему призывы «Москаляку на гиляку!» звучали в Киеве задолго до истории с Крымом. В горячих точках в 1990-е гг. почти всегда принимали участие бойцы УНА-УНСО — и в Приднестровье, и в Карабахе, и в Югославии, и в Чечне. В Грузии во время пятидневной войны присутствовали расчеты украинских С-200.

Возникает вопрос: а зачем украинцы это делали? Возможный ответ напрашивается сам собой: чтобы быть украинцем, необходимо *воевать* с русскими. Такова форма бурного и ускоренного украинского этногенеза.

Признание единой унитарной Украины в границах совсем не унитарной СССР неизбежно ведет к зачистке населения и дерусификации в русских регионах, а также, что не менее важно, означает идейно-политическую украинизацию публичного

пространства в самой России. Еще весной 2014 г. процесс неонацистского перерождения общества перешагнул границы Украины. Дело не только в иезуитских профашистских «Маршах мира», участники которых призывали российскую власть не мешать Киеву убивать бывших соотечественников, и в массивной проукраинской пропаганде «Дождя» или «Эха Москвы». Дальнейшая «бандеризация» России неизбежно перейдет в московский аналог киевского «майдана». И тогда грезы секретаря украинского Совбеза Александра Турчинова о присоединении Кубани могут стать трагической реальностью.

Сам Турчинов прекрасно это понимает, потому и озвучивает на первый взгляд фантастические проекты. Собственно их «фантастичность» — скорее успокоительный медийный миф, ведь нынешняя Россия изобилует лоббистами украинских интересов. Да, собственно, так было всегда. Еще в СССР у тогдашних украинцев — «наших, советских, социалистических» — были мощные лоббисты в ЦК КПСС. Не так давно была опубликована стенограмма заседания Политбюро ЦК КПСС 9 июля 1986 г. из архива Горбачев-фонда. На заседании обсуждалась целесообразность возвращения Крыма в состав РСФСР. Вопрос фактически положили под сукно. Но во время беседы в числе прочего М. С. Горбачев сказал М. С. Соломенцеву, председателю Комитета партийного контроля, следующее: «То есть ты считаешь, что Крым должен опять стать частью РСФСР, как по декрету Ленина? А ведь помнишь, Подгорный требовал, чтобы Краснодар и Кубань отдали Украине? Потому что казаки — это, по его

мнению, украинцы. Наверное, с исторической и политической точки зрения было бы правильно вернуть Крым в Россию. Но Украина встанет горой» (Архив Горбачев-фонда. Ф. № 2. Оп. № 3. Запись А. С. Черняева). Текст стенограммы оставляет ощущение вязкой борьбы национально-клановых интересов (русского, украинского и крымско-татарского). Но аппетиты, которые демонстрирует украинское лобби, — «отдать Краснодар и Кубань» — особенно красноречивы.

Победа Украины над русским миром кончилась бы не только потерей территорий. Добивать будут методично, ставя точку контрольным выстрелом, как сейчас пытаются это сделать в ЛНР и ДНР. Если вялотекущий проукраинский ГКЧП в России победит окончательно, выявлять «ватников» и «колорадов» под видом мифических «сталинистов» начнут уже в Москве. Собственно программа «десталинизации» ведется и сейчас, причем, кто именно сталинист, решают сами организаторы кампании. И если нынче шествие в память «Бессмертного полка» приветствуется, то никто не может гарантировать, что через несколько лет его не будет разгонять ОМОН.

\*\*\*

Так выглядит ситуация с чисто политической точки зрения. Но поднимемся на ступеньку выше и перейдем от политических раскладов к историческим закономерностям. В этом контексте вопрос об отношениях двух народов — старого русского и нового украинского — выглядит еще более сложным и драматичным. И вот здесь проблемы идентичности выходят на первый план. Ведь, собственно гово-

ря, настоящей угрозой русской идентичности является не политика кабинета Порошенко, не операции в рамках АТО, а сам факт существования единой Украины. Поскольку именно этот факт является первопричиной антирусского террора, официальная и неофициальная мотивация которого удовлетворяет всем критериям фашистской идеологии.

С этой точки зрения, как ни парадоксально, не имеют особого значения конкретные действия людей, сидящих на Банковой, делящих активы, грезящих о падении «путинского режима» и зачистке «генетического мусора». Да, с точки зрения сиюминутной политической конъюнктуры российским бизнес-кланам, конечно, важно, каковы идеология и курс Киева, насколько они «антироссийские» и почему, например, лучше оставить украинцам Мариуполь, хотя это и ослабляет позиции ДНР. Но это все лишь соображения момента. В исторической перспективе нет особой разницы между «бандеровским аттентатом» и «налаживанием отношений с дорогими партнерами». В этом смысле условные Кучма, Янукович, Порошенко, Яценюк, Ярош есть разные грани одной и той же сущности — квазигосударства, занимающегося насильственной дерусификацией. Каковая является единственным смыслом исторического проекта «Украина — Нероссия».

Это проектное мышление мы можем наблюдать на примере украинской элиты, которая готова разбомбить города Донбасса, но при этом надеется в дальнейшем жить с «донецкими» в одном мононациональном государстве. Любая *историческая* нация, не отрекшаяся от собственной традиции, интуитивно понимает, что такая линия поведения



невозможна. Это мина замедленного действия, закладываемая под собственное общество. Власти Украины с их проектным мышлением этого не понимают, их сознание — это сознание временщиков. Поэтому они легко управляемы внешними силами и готовы убивать тех, кого считают своими единокровцами и одновременно врагами, поскольку последние отказались предать русские корни и православие (вариант православия в виде Киевского патриархата современное религиоведение все чаще рассматривает как промежуточную форму перехода к униатству).

Это очень странный сюжет и далеко не единственная странность украинской самоидентификации. Квазиэтническая общность отличается от обычных, у нее другие стереотипы поведения, и само поведение легко программируется, если завязать его на «больной» вопрос идентичности. Именно поэтому украинцев из центральных областей страны так легко бросить в жерло войны на Востоке и даже заставить воевать с Россией. С любым другим народом этот фокус не прошел бы. Попробуйте заставить прибалтов добровольно и массово воевать с русскими, которых они считают оккупантами. Не дождетесь. Серьезные трудности будут и с галичанами, а с малороссами — никаких.

Речь идет именно о бывших малороссах, а не о так называемых «западенцах» с польско-австро-венгерским прошлым, которые охотнее едут на заработки в Москву, чем на поля сражений в Донбасс. В итоге перед нами народ с переписанной исторической памятью. Как если бы человеку стерли воспоминания, а затем загрузили новую «базу данных» и создали ему новую личность.

Ловушка «зеркальной идентичности», в которую попали русские в связи с украинским вопросом, удивительно архетипична. Она обнаруживает в себе мотив двойника, популярный в мировой культуре и литературе. Не случайно литературные сюжеты с двойниками («Крошка Цахес» Э. Гофмана, «Вильям Вильсон» Э. По, «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, «Двойник» Ф. М. Достоевского и др.) имеют в основе душевное нездоровье героя, символизировать нечистую совесть или даже близость смерти и заканчиваются как правило трагически (впрочем, иногда дилемму с двойниками разрешает удар шпагой в зеркало, как у Э. По). В какой-то мере литературной аналогией русско-украинской ситуации может считаться линия Крошки Цахеса (Циннобера) из гофмановской новеллы: Цахес колдовским образом приписывал себе чужие заслуги, а другим — свои пороки. И лишь единицы видели и понимали правду. И русские, и украинцы по привычке как бы наделяют чертами Цахеса друг друга, независимо от реальной исторической хронологии.

Но история отличается от литературы тем, что в исторических обстоятельствах одна из частей может взять на себя функции целого. В прагматическом смысле это означает: сумеют ли русские «разбить зеркало» прежде, чем превратятся в зеркало сами? Только так они могут освободиться из зеркальной ловушки, в которую попали в силу исторических обстоятельств.

\*\*\*

Отделиться от русского мира географически и территориально для украинцев не представляло

особой проблемы: ведь в России (тогда СССР) не было нацизма и была невозможна операция в духе киевской «АТО». Политически отделиться тоже ничто не мешало, да и как иначе обосновать сепаратистский выбор? Экономически — медленно, с вымиранием части украинского населения, но, в конце концов, отделиться тоже можно, если вымирающее население это стерпит. А вот идентичность пополам не делится — она одна. И строить идентичность на негативном базисе (украинцы как антироссияне) бесконечно тоже не получится: с таким багажом нельзя войти в историю.

Даже отдельному человеку, который вдруг решит «поменять личность», приходится доказывать свое происхождение. Он может придумать новую фамилию, обстоятельства рождения и семейные связи, но трудности с идентификацией неизбежны. Ему трудно будет выправить подлинные документы и доказать свое право на наследство. Как порвать родственные связи, но не оказаться человеком без роду-племени, чтобы наследство не проплыло мимо?

В национальных отношениях речь идет не о наследстве, а об историческом наследии. Придуманная личность здесь не поможет. Единственный путь: выдать себя за тех, от кого ты отрекся, то есть за подлинных носителей традиции. Такое самозванство требует лишить кого-то законной субъектности и забрать ее себе. В реальной жизни для этого требуется портретное сходство. В рамках исторических конфликтов это происходит по-другому. Проектный этнос отделяется от корневого, *а затем* возвращается, чтобы оспорить исторические права. Это легко осуществить, поскольку украинцы в прошлом — те

же русские и в принципе могут претендовать на ту же самую историю, те же памятники культуры. Для этого надо просто вновь объявить себя русскими — но не вместе, а *вместо*.

Что это означает? Во избежание вечного томления духа украинцы, конечно, рано или поздно будут вынуждены вернуться к русской идентичности, но понятой ими на свой лад. Однако чтобы «вернуться» в качестве полноправного исторического субъекта, им придется вытолкнуть из этой исторической матрицы самих русских, то есть дерусифицировать нас. Иначе наследство получить нельзя. Вот чем объясняется маниакальный соблазн украинизации, проводить которую Турчинов, Яценюк и Порошенко готовы с помощью «Градов», «Ураганов» и «Точек У». И, конечно, границы «Нероссии» для этого тесны. Уже сейчас помимо дерусификации восточных регионов усилиями внутрироссийского украинского лобби продумывается методика дерусификации населения в самой России. Да, без украинизации как таковой: это пока из области фантастики, но уже вполне можно говорить о возникновении российского политического украинства<sup>1</sup>.

Существование двух русских наций противоестественно. Они занимают одну культурно-историческую нишу и обречены конкурировать. Украинство, противопоставляя себя русскому миру, самым фактом своего существования ставит вопрос: а собственно кто является русским народом — народ

---

<sup>1</sup> Весьма интересны и поучительны волнообразные процессы украинизации внутри РПЦ МП на протяжении XX в., но это тема для отдельного исследования. — *Примеч. авт.*

Киевской или Московской Руси? Кто подлинный наследник тысячелетней традиции, кто настоящий русский, а кто самозванец?

Понаблюдаем с этой точки зрения за функционированием украинского политического дискурса. И сразу обратим внимание на самое интересное. Интеллигентные украинцы, которые вслух (и даже про себя) стесняются называть нас «москалями», по возможности избегают называть нас и русскими. Зато охотно говорят «россияне». Нередко «россиянин» в их понимании — синоним «запутинца». Конечно, это упрощение, личность самого Путина здесь вообще ни при чем, и сами украинцы это прекрасно понимают, но... им так проще. Ведь на самом деле под «Путиным» они понимают «рашку», которую они вынуждены ненавидеть. Характерно, что мы для них — «эрефийцы», «кацапы», «колорады». Право называться русскими у нас уже понемногу отнимают. Да, пока в рамках своей внутренней лингвистической компетенции, но только пока.

А вот небезызвестный русско-украинский националист Александр Нойнец, например, пишет у себя на сайте: «Российская Федерация — последовательное антирусское государство, всю свою историю проводящее русофобскую политику». И если нам такая позиция еще кажется экстравагантной, то для украинцев она давно превратилась в общее место. Для Украины, в отличие от России, это рутинная точка зрения. Для Украины, а *значит*, и для российского проукраинского «креативного класса».

Так начинается похищение русской идентичности. Строго говоря, это закономерная ситуация: ведь украинцы по сути зеркальные русские и друго-

го пути кроме похищения у них нет. Рано или поздно свою русскость украинцам признать придется, чтобы получить нормальную историческую прописку. Но чтобы эта прописка была «без москалей», самих москалей надо ликвидировать. Это не означает всех вырезать — собственно вырезать 85 % населения численностью 140 млн и невозможно. Это означает другую, историческую смерть.

Следует сказать, что похищение русской идентичности в рамках украинского «незалежного» дискурса — это элементарная, хотя и сильно растянутая во времени трехходовка. Первый шаг: Украина — не Россия. Второй: Украина — Антироссия. Третий: Украина *и есть* Россия, настоящая *Русь*. В итоге: Украинцы — это русские, а россияне — исторические самозванцы. Круг замыкается. Вот почему существование единой Украины означает в недалекой перспективе исчезновение единой России, как несколько веков назад это случилось с Византией. Мы всегда избегали фразы «Россия для русских», теперь можем получить Россию *без русских*. Без *исторических русских*.

Крым занимает в русско-украинском противостоянии особое место, и о нем стоит сказать отдельно. Нетрудно заметить, что для «свидомых» русский Крым — как кость в горле. И не только в силу своего культурно-стратегического значения. Он подрывает всю коллективную мифологию украинства. Возвращение Крыма — наглядный пример того, что русские хотят и могут сопротивляться колонизации. Крымская виктория служит универсальным ответом на все те вопросы по поводу текущих событий, которые возникают у жителей Мариуполя,

Николаева, Харькова, Одессы, Днепропетровска и Киева. Крымский прецедент — серьезная угроза для украинского этногенеза. Он напоминает о том, что русские не желают быть колонизированными рабами, и переводит ситуацию в хрестоматийные рамки библейского сюжета: «Let my people go!» («Отпусти мой народ!»).

И еще одно, не менее важное обстоятельство: Крым, говоря языком шахматистов, — это выигрыш качества в русско-украинской войне, которая ведется не только за людей и территории, но и за русское историческое наследие и, следовательно, за саму русскую идентичность. И здесь сакральная сторона вопроса приобретает первостепенное значение, заслоня собой остальные. В этом смысле возвращение Крыма точнее будет назвать освобождением Херсонеса (Корсуни). Мы владеем Москвой, Владимиром, Псковом — хотя почему-то не очень любим говорить об их сакральном, символическом значении для русского самосознания. Теперь нам посчастливилось вернуть Херсонес. Это огромное по важности событие — праздник со слезами на глазах, который уступает Дню Победы только из-за громадного числа жертв последней войны. Отвоевывая, возвращая себе свою географию, мы возвращаем и свою историю. Что такое владение Херсонесом для в недалеком будущем греко-католической Украины? Символ победы над русскими. А для русских это святая земля, место, откуда «есть пошло» русское православие. Украинская историография, считающая истинным преемником «первого украинского государства» — Киевской Руси — Галицко-Волынское княжество, но не Владимир, Суздаль и Москву, теперь должна бу-

дет выстраивать свою версию истории без Херсонеса, если хочет убрать из нее «российский след».

Идентичность и традиция — величины неделимые. Между тем подлинного значения Крыма и Херсонеса у нас в России не только не понимают, но мешают всерьез об этом говорить. В лучшем случае допускается разговор о Херсонесе-Корсуни как о некой «достопримечательности». О том, что подлинный европеизм русских (как и любого другого народа) связан исключительно с тем, что мы — христианская нация, за пределами некоторых православных СМИ говорить не принято.

\*\*\*

Сегодня в массовом сознании украинцев идет бурная перестройка национального мифа. Прежде хранителем украинской идеи считался запад страны. Теперь на первый план выходит идея «европейского русского мира», оспаривающего у Москвы историю Киевской Руси (и не только ее) и связанного с центральным, «малороссийским» антирусским национализмом. И потеря украинцами Херсонеса, конечно, не разрушает, но заметно ослабляет эту концепцию. С возвращением Херсонеса история России заметно «удлинняется», а фигура князя Владимира, крестителя и основателя Руси как европейского государства перестает быть только киевской, «жовто-блакитной». Крым для русских — ворота в историческую Византию. Возвращение Крыма в родную гавань позволяет и всем русским начать возвращение домой, к истокам. Маршрут этого пути прослеживался и раньше, до событий весны 2014-го, но движение замерло в мертвой точке.



Что означает русское византийское наследие для западных элит? Страх утраты идентичности. Западная идентичность построена на идее исключительности и особой цивилизационной миссии. Для ее адептов невыносима мысль о существовании «другой Европы», опирающейся на наследие Платона и апостола Павла, Дионисия Ареопагита и Иоанна Златоуста, Григория Паламы и Григория Нисского, Константина Великого и князя Владимира, Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, Ивана Третьего и Александра Третьего, Александра Невского и Георгия Жукова, Константина Леонтьева и Федора Достоевского, Льва Толстого и Андрея Платонова, Михаила Булгакова и Николая Заболоцкого, Льва Лосева и Александра Зиновьева. Существование альтернативы невыносимо для «кафоллического», мондиалистского сознания западных европейцев. Это страх «расколотого Я», страх утраты своего исторического мессианства, питающего энергию колониальной экспансии. Вот почему культурная агрессия внутрirosсийского проукраинского сообщества так легко прослеживается на уровне понятий с определением «византийский» («византийская политика», «византийский стиль», «византийские интриги»). И это еще один удар по русской идентичности, по другой ее важнейшей части. Рано или поздно нам придется доказывать, что именно мы являемся неовизантийцами, наследниками одной из великих европейских традиций, и по праву обладаем историческим гражданством Третьего Рима. Говорить об этом следовало бы уже сейчас. Хотя бы потому, что этот аспект нашей идентичности украинцам труднее оспорить по причине сильной традиции украинского униатства. Значит, именно в эту точку следует бить.

Новая украинская мифология оспаривает у Москвы не только историю Киевской Руси, но и отдельные, наиболее привлекательные аспекты советской истории. Например, тему антифашизма, выстроенную через отсылку к Сталинграду, на роль которого — правда, не слишком удачно — был предложен Донецкий аэропорт. В рамках политического постмодернизма, который царит сегодня на Украине, это прекрасно сочетается с запретом термина «Великая Отечественная война» (вместо него используется выражение «Вторая мировая»), с переносом праздника с 9 на 8 мая и с уголовной ответственностью за использование советской символики и исполнение гимнов СССР и УССР.

Об отношении к советскому прошлому следует сказать особо. Украинские политтехнологи прекрасно понимают: поскольку в качестве символического ресурса «майदानа» была выбрана традиция, связанная с УНА-УНСО и Степаном Бандерой, противостоять ей с русской стороны может противоположный по направленности идеологический комплекс. Его и следует разрушить. Прежде всего, это бывший советский статус нынешней украинской империи, которая при всем своем антисоветизме хотела бы сохраниться в советских границах. Отсюда все «гримасы» политического курса.

При принятии закона, который исключал бы Украину из числа преемников «преступного советского режима», ей как минимум следует избавиться и от советских границ, отдав западные области Польше, а юго-восточные — России (по состоянию до 1917 г.), провести реституцию иностранной собственности и т. п. Все это выглядит невозмож-

ным, поэтому борьба с «ужасным советским прошлым» происходит только в сфере идеологии. То есть вместо актов о преемственности принимаются законы о символике, а на площадях крушат бульдозерами монументы советской эпохи. И никто не спешит отпустить Новороссию в связи с тем, что она была предметом именно советского политического контракта, и еще в 1991-м этот контракт был расторгнут. Цель украинских пропагандистов состоит не в осуществлении реальных изменений государственной концепции, а в том, чтобы выбить из русского дискурса именно те смысловые опоры, которые представляются важными. То есть мешают возводить собственное идеологическое здание на бандеровском фундаменте: даром что «по документам» Украина по-прежнему наследница СССР.

В рамках политического дискурса, который сейчас использует Киев, буквально все подвергается удвоению. Две войны, две победы, две версии русского православия. Киево-Печерскую лавру планируют отобрать у Московского патриархата, чтобы застолбить первородство «украинского национального» православия. И, конечно, попытка похищения советской идентичности не случайна: она осознается украинцами как важнейшая часть идентичности русской.

Но, к сожалению, украинствующие политики России со своей стороны стремятся ослабить концептуальную целостность русской истории, разжигая конфликт между сторонниками советского государства и дореволюционной России, между «красными» и «белыми». Дело в том, что советский и дореволюционный элементы являются частями единой

русской идентичности. «Советское» — это неотъемлемая и составная часть «русского», поскольку мы говорим об идентичности нации, а не идентичности сменяющих друг друга «режимов». Украинцы и «заукраинцы» понимают это прекрасно, потому одной рукой поддерживают то, что разрушают другой.

Условием укрепления русской идентичности является синтез, или, говоря языком семиотики, взаимный перевод разных кодов, составляющих единое знаковое пространство русской традиции. В частности, советских ценностей (код «социальной справедливости») и христианских ценностей в православном изложении (евангельский код). Буквально это означает, что мы должны уметь рассказывать на советском языке — о православной «святой Руси», о земле Русской, и наоборот, в рамках древнерусской и византийской традиций — о ценностях справедливого общества (ср., например, «Слово против ростовщиков Григория Нисского»). Тогда русская идентичность укрепитя, а русская традиция получит мощный толчок к развитию. Если эта задача кажется странной, то лишь потому, что культурный перевод еще не осуществлен. Причем с решением нужно поспешить, поскольку процессы культурной диссоциации уже запущены антисистемными акторами как на Украине, так и в самой России.

Архетипы традиции, присутствующие в рамках как советской, так и дореволюционной моделях общества, содержатся, если внимательно посмотреть, в византийском наследии России. Речь идет о том, чтобы раскрыть внутренние механизмы византийской социальности — восточной формы европеизма. Обычно мы воспринимаем византийское насле-

дие только по линии церковной религиозности, лишая себя громадного пласта византийской культуры и традиции, не связанных напрямую с церковно-религиозной проблематикой. Но важнейший этап становления русского дискурса заключается в переводе византийского социокультурного наследия на язык русской и советской традиции, а следом и на космолингву — космополитический язык западного мира.

\*\*\*

Когда юная украинская патриотка Анастасия Дмитрук написала знаменитое «Никогда мы не будем братьями», она, если убрать из ее текста майданную риторику, в сущности была права. Только дело не в том, что кто-то из нас плохой и тоталитарный, а кто-то хороший и свободный — это, понятное дело, политическая мишура. Братья могут быть близнецами, но они не могут быть двойниками. Кто-то один из двойников — ненастоящий. Но кто именно? Решение этого вопроса требует приложения колоссальных усилий в политическом и культурном направлениях.

До 2013 г. невозможно было представить себе, чтобы русские публицисты свободно говорили то, что они говорят сейчас. Но горькая правда всегда целительна. Например: «Самостийная Украина никогда не была “братской” и дружественной России страной. На самом деле миф о “братском народе” и формальная пророссийскость украинской власти не позволяла России говорить о сути украинского проекта и истории его возникновения. Это рассматривалось бы Киевом как акт информационной агрессии против Украины и оскорбление нацио-

нальных чувств украинского народа. При этом более всего по этому поводу возмущались так называемые “пророссийские силы” и самопровозглашенные “братья”»<sup>1</sup>.

Если бы дело обстояло по-другому, Украина давно бы мирно разделилась и не настаивала фанатично на своей унитарности. Такой сценарий вполне приемлем для западных областей Украины как раз потому, что галицийская идентичность и есть именно галицийская, а не вывернутая наизнанку русская. С ее носителями русские могли бы легко договориться. Но со сведомыми «центральными» украинцами, а социальной базой киевской власти являются именно они, это невозможно, как невозможно договориться с зеркалом. Позиция Киева в русско-украинском конфликте свидетельствует как раз о том, что перед нами не брат и не сосед, пусть даже враждебный, но рационально мыслящий. Это мышление и поведение выдает именно двойника, который является управляемым «национальным проектом». Он ставит внешнюю цель (распад России) выше внутренней (сохранить от распада самого себя) в силу свойственной ему негативной идентичности. Не имея собственной позитивной идентичности, новая общность стремится уничтожить старую, теперь чужую. Но что значит уничтожить? Речь идет не только о банальной оккупации территорий. Не менее важная задача украинства — лишить легитимности и исторической субъектности сам русский мир как целое.

---

<sup>1</sup> Белов С. Потерянная Украина и вернувшаяся Россия // Newsgget. 2015. 12 мая. URL: <http://newsgget.ru/allnews/20-outlook/8752-poteryannaya-ukraina-i-vernuvshayasya-rossiya-sergej-belov>. Дата обращения 29.03.2018.

Говорить правду необходимо. И правда заключается в том, что существование единой Украины исторически исключает существование единой России и наоборот. Уйти от данной дилеммы мы, к сожалению, не можем.

Понятие «пророссийская Украина» — точно такой же нонсенс, как и «пророссийская Россия». Если она не возвращается назад в Россию как русская территория (а этого украинцы вряд ли хотят), формула ее идентичности будет основана на густой русофобии и готовности в удобный момент нанести смертельный удар историческому конкуренту. Даже гипотетическая независимость Новороссии не решила бы проблему в целом, поскольку пассионарные украинцы прекрасно знают, что они воюют именно с русскими, причем не одно десятилетие, и неважно, что думают или хотят думать по этому поводу сами русские. Определяющий характер имеет точка зрения активной, а не пассивной стороны конфликта. Война объявлена — следовательно, одной из сторон предстоит победить или проиграть. Имитация неучастия не отменяет саму войну — она отменяет победу.

## Русско-российский вопрос

**В** 2017 г. в «Независимой газете» вышла статья академика В. А. Тишкова «Что есть нация. В поисках российской идентичности». Цель публикации была очевидной — установить некие концептуальные рамки для ставших в последнее время популярными дискуссий о существовании «российской нации».

Содержание статьи В. А. Тишкова вызвало у многих русских православных христиан серьезную тревогу. В первую очередь это касается основной идеи автора — идеи российской нации как «нации наций». Решение проблемы «российской нации» в столь амбициозном формате напоминает модные в 1990-е гг. поиски «национальной идеи», которые так ничем и не увенчались. Но сейчас речь зашла, ни много ни мало, о возможных изменениях в Конституции — цена вопроса необычайно высока.

Текст В. А. Тишкова не содержит в себе ответа на главный вопрос: на основе какой общей платформы — ценностной, культурной исторической — может быть построена «нация наций»? Правда, В. А. Тишков, словно предвидя этот вопрос, спешит заверить читателя в том, что отвечать на него и не нужно, поскольку, согласно последним научным данным, нации не возникают сами по себе, но со-



знательно конструируются: «Ученые-гуманитарии относят понятия «нация», «народ», «общество» к категории социально конструируемых...»

Этой цитатой автор неявно отсылает нас к одному из самых радикальных направлений западной социальной философии — конструктивистскому. Данное направление отрицает историческую реальность таких феноменов, как раса, этнос или нация, полагая их некими специально сотворенными «воображаемыми сообществами» (Бенедикт Андерсон), а с ними отрицается и понятие национального суверенитета. Но работа Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества», сборник «Изобретение традиции» под редакцией Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера и подобные им тексты были написаны в 1980-х гг. и успели устареть. Причем не только в чисто научном смысле. Социальная реальность с тех пор сильно изменилась. Сегодня уже очевидно, что национальные и конфессиональные общности вновь становятся главными акторами истории, а национальная идентичность и традиция составляют тот исторический капитал, который гарантирует устойчивость в современном мире.

Но все это не мешает автору предлагать «ввести в научный язык возможность двойного смысла, то есть обозначение нацией двух разных типов социальной коалиции людей — общности по государству и общности по схожести культуры». При этом нация-1 должна состоять из множества наций-2. Вообще-то научная терминология всегда стремилась избегать слов с двойным смыслом, как и умножения терминов, применимых к одному понятию. Но это полбеда. Как автор надеется объяс-

нить 150-миллионному населению, что оно принадлежит к двум нациям одновременно, причем одна из них называется так же, как и гражданство, но гражданством все же не является?

Мне трудно представить, как мы, обычные люди, вдруг начинаем определять национальную принадлежность не по культурно-конфессионально-языковым признакам (классический «треугольник идентичности»), а мысленно складывать из нескольких национальных «монад» единую Сверхнацию. Известен ли автору хоть один исторический пример такой мегаобщности? Даже американский «правильный котел» при всей его этнокультурной пестроте не предполагал наличие более чем одной нации, американской.

Чтобы объяснить неизбежность такого взгляда, В. А. Тишков стремится представить дело так, будто существуют лишь два понимания нации. Одно этническое — пещерное, неразвитое. Другое — «гражданское». Причем «гражданское» предполагает именно конструктивистский подход. Но почему-то молчаливо отбрасывается культурно-историческая трактовка национального. И, честно говоря, подзаголовок статьи *«Голос крови» против гражданского мира* выглядит если не провокационным, то, как минимум, надуманным и некорректным.

В. А. Тишков уверенно утверждает: «К сожалению, даже среди просвещенной части общества преобладает старое советское представление о нации исключительно как о типе этнической общности (этнуса)». В самом деле? Это что-то новое. Потому что если мы просто заглянем в сталинскую работу «Марксизм и национальный вопрос», то прочитаем

там следующее: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры». И где здесь доминирование этнического критерия? Несмотря на искажающее влияние классовых принципов в основе своей это все же социально-культурный подход.

Теперь о реальном положении вещей с нацстроительством в России. Да, национальное строительство в России шло трудно и медленно, прерывалось многократными историческими разрывами. Но недавно оно прошло очень важный этап. Крымский консенсус завершил формирование полиэтничной русской нации, попутно положив конец расколу на «красных» и «белых».

И в «Бессмертном полку» сегодня вполне могут нести рядом портреты маршала Жукова и генерала Брусилова. Представления разных этносов и социальных групп отныне вписаны в единую русскую ценностную матрицу — наследие Византии, тоже, кстати, полиэтничной и многокультурной. Но когда сегодня наших параолимпийцев лишают права на выступления — это вызывает возмущение и в Москве, и в Севастополе, и в Казани, и в Грозном, и в Калининграде, и на Курилах. А также, кстати, и у русских, которые волею судеб проживают в Донецке и Одессе и даже в Париже или Берлине.

О чем это говорит? На мой взгляд, о том, что не гении социального инжиниринга формируют нацию, а нация формирует человека, правда, при его согласии и непосредственном личном участии. Потому

что законы части всегда подчиняются законам целого, иначе не бывает.

Теперь подумаем, что случится, если модель «российской нации как нации наций» будет все же силой навязана обществу.

Во-первых, произойдет полный разрыв понятий «русский» — «российский», абсурдное хотя бы по причине его эндемичности. Ведь в английском языке есть только слово «Russian», и данные смысловые особенности для западного человека не различимы. Это значит, что семантические отношения внутри данной лексической пары даже нельзя будет перенести в международный контекст. Они не будут по-настоящему поняты за пределами России.

Во-вторых, русские лишаются исторической и общественно-политической субъектности. Это, в частности, означает отрицание наличия русских людей и интересов за пределами России — то есть русского мира — в отличие, например, от англо-саксонского мира, не ограниченного пределами Великобритании (да и пределами США).

Интересно, а крымчане вернулись в свою историческую гавань как русские или как россияне? Разумеется, как русские.

В-третьих, идея многосоставной российской нации упирается в наличие автономий у других этносов и ее отсутствие у русских. Если привести исконную нацию к «российскому» (а не русскому) знаменателю, русские просто выпадают из публичного пространства России. Становятся не институализированной общностью, историческими люмпенами.

В-четвертых, при таком сценарии русская традиция с ее византийской преемственностью сразу

же попадает в распоряжение представителей конкурирующего украинского проекта. Этот исторический ресурс будет мгновенно перехвачен. Ведь уже и сейчас в украинской и компрадорской среде весьма популярна идея «российскости» как «ордынства», а украинства — как «подлинной русскости» и «белой расы князя Ярослава». Даже интеллигентные украинцы, которые вслух стесняются называть нас «москалями», избегают называть нас и русскими. Зато охотно говорят: «россияне». Это растянутый во времени процесс, по завершении которого украинцы становятся вновь русскими, а «россияне» оказываются в роли исторических самозванцев.

Итак, концепция В. А. Тишкова будет способствовать дальнейшему табуированию темы русской национальной Катастрофы (Таллергоф и Тирезин, Гражданская война, Великая Отечественная война, распад СССР, дерусификация Юго-Восточной Украины и др.). Принятие данной концепции приведет к реализации доктрины «мира как сообщества регионов» и распаду единых национальных пространств Российской Федерации.

В общем, обнародованный проект «российской нации» явно не схватывает существующие реалии, плохо вписывается в пространство носителей русского языка, культуры и русской формы православия (русский мир). «Российская нация» имеет смысл только как синоним русской — но тогда, признаться, неясно, зачем без необходимости умножать термины.

Да и мнение нации о себе самой кое-чего стоит. Ведь национальная принадлежность определяется не только «треугольником» идентичности, но

и внутренним ощущением общности. Оно, это ощущение, не зависит от мнений ученого сообщества. Напротив — консенсус больших групп людей и есть то, что должно быть предметом внимания научного мира. Тогда концептуальные схемы не будут расходиться с реальной жизнью, будут «схватывать» исторический процесс, а не пустоту.

Способны ли русские, состоявшись как нация, еще и выполнить свою миссию — сохранить для мира ценности, лежавшие в основе единой христианской цивилизации? Если они не станут жертвами безответственного «национально-гражданского конструирования» — думаю, да.

**О Б Щ Е С Т В О**





## Смерть интеллигенции

О судьбе российской интеллигенции говорят все реже и реже. Интеллигенция умерла как сословие: социальное расслоение не обошло ее стороной. Место интеллигенции занимают яппи и креативные менеджеры, лишённые коллективных моральных рефлексий. Почему же мыслящее сообщество безмолвствует? Мне кажется, что уже можно уверенно ответить на этот вопрос. Судя по всему, неподходящий момент для этого разговора не только сейчас. Это навсегда. Общественный ландшафт изменился настолько, что интеллигенция как социальное единство распалась и перестала играть какую-либо роль в общественных процессах.

О смерти интеллигенции дискутировали давно и много, но все это были, что называется, субъективно-оценочные мнения отдельных людей. В плохих прогнозах недостатка не ощущалось. Но сегодня мы имеем совершенно иную ситуацию. Перед нами довольно достоверный критерий, позволяющий констатировать смерть с медицинской точностью, — отсутствие общественного интереса. Тема остыла, достигла нулевого градуса. Сам предмет спора — архаичное явление. Он не включен в повестку дня.

Постсоветская либерализация большевизма запустила процесс расслоения интеллигенции. Еще

при Б. Н. Ельцине этот советский монолит начал трагически распадаться на взвесь и осадок. Отдельные представители бывшего мыслящего сословия стали статусными и гламурными, остальные слились с массой бюджетников, презираемых «реальными» представителями новорусской эпохи. Те, кого власть взяла на службу, предали в беде тех, кто остался за бортом рыночных преобразований.

О советской интеллигенции стоит поговорить особо. Провозглашая себя оппозицией советской власти устами наиболее привилегированных своих представителей, она и не подозревала, что рубит сук, на котором сидит. Да, советская власть давила идеологией и репрессиями, но интеллигенция, иногда ручная, иногда фрондирующая, была ей нужна. Режиссеры, писатели, актеры считались украшением государственного здания, чем-то вроде химер на соборах. С ними носились, их обхаживали. А вот в условиях диктатуры рынка нет никакой необходимости в существовании этой чудаковатой прослойки, которая вечно спасает мировую культуру и хочет просвещать массы. Зачем она нужна? «Миркульт», «духовка», «культурка» — все это лежит сегодня запечатанное в аляповатые пластиковые коробочки.

Дело в том, что этот самый «миркульт» — трудноусваиваемая для мозгов постсоветского обывателя пища. А просвещать его, как при старом советском режиме, сегодня некому. Наоборот, образовательный стандарт сокращают, общество оглушают реформой образования, подгоняют остатки знаний под тесты ЕГЭ. При этом бывшие интеллигенты

зачастую искренне аплодируют. Но, несмотря на все прежние и нынешние овации новому режиму, интеллигенции пришлось сойти с исторической сцены.

Новое общество, которое строится сегодня, — это общество сырьевых магнатов, клерков и мойщиков окон. Разумеется, интеллигенции в нем нет места. Культур- и политехнологи пока еще нужны — им поручено обслуживать власть, но речь при этом идет отнюдь не о классе и не о сословии, а о весьма небольшой группе людей, которые знают друг друга по именам и составляют маленькую секту.

Взглянем на прошлое интеллигентского сословия. Неслучайно оно не дает покоя нынешним соцтехнологам, ищущим с фонарем и собаками «новых интеллигентов». Ведь многие из этих энтузиастов сами «родом» из бывшей советской интеллигенции. Бывшая интеллигенция решила заняться собой? Похоже, что так. Или, говоря философским языком, перешла в режим самоописания. А значит, к традиционным вопросам интеллигента — «Что делать?», «Кто виноват?», «С кем вы, мастера культуры?» и «Куда мы катимся?» — пришло время добавить еще один, главный: «Что же такое интеллигенция?»

Мессианиззм. Интеллигенция появилась в условиях бюрократического государства и сразу стала прослойкой так называемых «лишних людей». Она не была готова служить самодержавной власти, но и идти на сближение с народом не хотела. Точнее, народники попытались повернуть в сторону народа, но 1905 г. многих отрезвил.

В вечном выпадении интеллигенции из общества и состоит ее сущность. Это «нигилизм без веры», как было замечено авторами сборника «Вехи». Интеллигенция в основном варилась в соку собственных идей, а точнее — превратно понятых достижений европейских интеллектуалов. И торговалась с властью: «Власть, дай порулить, за это мы будем верно служить». Интеллигенция пыталась учить и власть, и народ цивилизованному «жизтью», указывала, каким должно быть, по ее мнению, «современное общество» — тон разговора, абсолютно немислимый для европейца. Интеллигенты не хотели быть управляемыми, но желали управлять сами. Неслучайно у интеллигенции наряду с общепринятыми были свои любимые культурные ценности. Как заметил кто-то из историков, у советской интеллигенции была своя религия — братья Стругацкие, своя идеология — А. Сахаров, любимые книжки — И. Бабель, И. Ильф и Е. Петров, А. Рыбаков, любимый театр — «Таганка».

Невостребованный мессианизм интеллигенции еще больше отдалял ее и от власти, и от народа. Так продолжалось до 1917 г., когда интеллигенция наконец-то порулила — на короткое время сама став властью, пока ее не подвинул рабоче-крестьянский кадровый призыв. Но это интеллигенцию ничему не научило. Снова начались муки фальшивой оппозиционности. Вековая смесь преданности власти и мнимого фрондерства — явление предельно выморочное. Неудивительно, что их коллективная идентичность держалась не на социальной роли, а на системе мифов, самую интеллигенцией выдуманых.

*Миф об оппозиционности.* Торг с властью есть главная профессия интеллигенции. Она никогда не была оппозицией по-настоящему, но хотела быть при власти и иметь преимущественное право наставлять общество. Например, за право быть критиками власти при власти боролись в советское время «шестидесятники» и получили свое. Власти в то время понадобились «оппозиционеры». В такие периоды все происходило в рамках консенсуса: интеллигенция всегда колебалась вместе с генеральной линией. Каждый такой медовый месяц с властью интеллигенция называла «оттепелью», а его прекращение — «заморозками».

Дело в том, что без опоры на власть функция самопровозглашенного общественного наставника невозможна: никто не станет слушать. Именно поэтому интеллигенция втайне очень любит власть. Сия любовь является важным условием ее выживания. Это и есть главная тайна интеллигентского сословия.

Впрочем, иногда представители сословия «проговаривались», как это сделал однажды Михаил Гершензон, заявивший после выхода сборника «Вехи»: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех козней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной».

За эту фразу его заклевали. Гершензон вынужден был уйти из либерального «Вестника Европы». Но заклевали именно потому, что Гершензон случайно брякнул правду. Отношения в треугольнике

«власть — интеллигенция — народ» полностью исчерпываются его формулой.

*Миф о просветительстве.* Интеллигенция чаще всего представляет себя сословием просветителей в дикой, отсталой азиатской стране. Говорили о просвещении народа, но фактически претендовали на роль нового дворянства. Особый статус — право «пасти народы» — по мнению вождей интеллигенции, власть должна была им обеспечить исключительно за их культурно-образовательный ценз. Чистейшее мессианство. Попутно заметим, что конечной целью введения ЕГЭ, платного среднего образования и сокращения вузов как раз и является выведение народа за рамки этого ценза.

*Миф о свободе.* Свобода не для всех, а только для себя — это уже не свобода, а привилегия. Именно так понимала свободу интеллигенция. «Права и свободы», а вернее привилегии, которых они требовали от власти, были, по сути, аналогом законов о вольности дворянства.

Допустим, у меньшей части интеллигенции после 1991 г. появилось право печататься и говорить с телеэкрана. А в чем же тогда свобода остальных — свобода большинства, которое не издают и не пускают на телевидение? Это интеллигенцию отнюдь не волновало. Вот историческая аналогия, проясняющая дело.

*Сюжет первый.* После выхода указа о вольности дворянства крестьяне решили, что теперь должен быть указ о вольности крестьянства. Ходили слухи о том, что в южных губерниях уже дают вольную и дарят землю. Но время шло, указа все не было.

Крестьяне стали бунтовать, примкнули к казацкому восстанию Пугачева. И заплатили за это жизнью.

*Сюжет второй.* После негласного указа о вольности интеллигенции в перестройку народ решил, что будет и указ о вольности народа. Поверил в перестройку, поддержал новую власть — Б. Ельцина и его команду, признал переворот 1991 г. Но на место ЦК пришла либеральная номенклатура, которая присвоила собственность КПСС и уничтожила индустрию. Протесты были подавлены войсками в 1993 г., а сами волнения объявлены сговором коммунистов и нацистов. Интеллигенция в 1993 г. шумно поддержала власть, написав знаменитое позорное «Письмо 42-х» с пламенным призывом «Господин президент, раздавите гадину!» (Б. Ахмадулина, Д. Гранин, А. Дементьев, В. Астафьев, Д. Лихачев, Б. Окуджава, Р. Рождественский и др.). Делиться свободой интеллигенция не захотела.

Вообще интеллигенция по своей природе предельно авторитарна. Называя себя «культурной прослойкой», «приличными» людьми, она любит вводить критерии пригодности: какие люди «рукопожатны», а какие — нет. Неслучайно большевики — интеллигенты в квадрате. Весь авторитаризм большевиков вышел из интеллигентской традиции — из идеи о цивилизаторской деятельности в отсталой стране.

В начале «нулевых» в Москве был открыт памятник интеллигенции. Выглядит он так: Пегас парит над абстрактной композицией из стальных шипов. Обычно памятники ставят либо посмертно, либо за особый статус при жизни. Этот памятник «самой себе» — то, строительством чего российская интел-

лигенция занималась на протяжении всей своей истории. Сегодня в этом памятнике явлены оба качества российской интеллигенции. Во-первых, она потерпела историческое поражение и умерла. Во-вторых, комплекс избранности, мессианизм интеллигенции и есть ее памятник самой себе.

Смерть интеллигенции закономерна. Она не выдержала экзамен ни на интеллектуальную пригодность, ни на нравственную зрелость, ни даже на верность самой себе.

В начале 1990-х интеллигенция перестала быть единым вольнолюбивым сословием, которое в СССР слонялось «между НИИ и царством Свободы». В «рыночных» условиях произошло окончательное расслоение и размежевание интеллигенции. Большая ее часть — нестатусные интеллигенты — была названа новой властью бюджетниками, приравнена к люмпенам и превращена в отбросы общества. В подавляющем большинстве бывшая прослойка советских образованцев направилась по трем направлениям: в эмиграцию, в челноки и в запой. Порвалась цепь времен. Меньшая часть — статусная интеллигенция — пошла на службу к власти и начала прославлять новый порядок. Ни те ни другие даже не задумались о свободе, о которой они так много рассуждали во время оно.

Так откуда же взяться новой интеллигенции сейчас? Кто и для чего ее придумывает и создает?

\*\*\*

В последние годы о судьбах российской интеллигенции говорят все реже и реже. Общественный



ландшафт изменился настолько, что интеллигенция как социальное единство распалась и перестала играть какую-либо роль в общественных процессах. Ее место занимают яппи и креативные менеджеры, лишённые коллективных моральных рефлексий. Судя по всему, это навсегда.

Вообще-то явление нового человека — знакомая тема для тех, кто родился и жил в СССР. Но советские идеологи склонны были объяснять этот процесс строго научно. А современные знатоки коллективных душ рождение нового сословия объяснили по всем правилам космогонического мифа: мол, все происходит из ничего. Кем же господа новые интеллигенты были раньше? А никем. Это люди, морально преобразившиеся на волне «снежных» протестов и передвижных «майdanов». Просто моральное начало в них раньше дремало. Но случилась Болотная, случился проспект Сахарова — и оно проснулось. Вот почему они могут теперь носить гордое звание интеллигента. Не поверите, но списки «ударников» морального преобразования тут же составили и опубликовали на сайте «Московских новостей» в разделе «Мы вас представляем». Кого там только нет: рестораторы, владельцы прачечных, общественники...

Новая интеллигенция, если принять во внимание обстоятельства ее рождения, культурный уровень и социальные амбиции, похожа не столько на интеллигенцию старую, сколько на пролетариат. В-первых, ближайшая задача новых интеллигентов, как когда-то «гегемона» — политически просветить и увлечь обывателя, привести его на митинг. Во-

вторых, их объединяет искусственность происхождения.

Когда-то «красная» власть наделала «гегемонов» из бывших крестьян, отлучив их от земли и согнав в города. Интеллигентам сегодня тем более неоткуда взяться. Ведь старая интеллигенция — «лишние люди», энтузиасты из «НИИЧАВО» — сегодня уничтожены как класс и массово не воспроизводятся. Вся надежда на виртуальные технологии. На создание медийного образа.

М. А. Булгаков не случайно облек советский социальный эксперимент по получению Шариковых в медицинскую метафору. Что-то в этом роде затеяли, судя по всему, с нью-интеллигенцией. Но поскольку на дворе не военный коммунизм, а денежный феодализм, то и гегемон у нас соответствующий. В основном это тот самый офисный планктон. Сейчас на дворе «модернизация» (нано, твиттер, большая труба). Нынешние соцтехнологи не озаботились даже такой малостью, как придумывание для новейшей офисной генерации моральных принципов. Они просто присвоили менеджерам, а заодно хипстерам и прочей соцфауне титул «интеллигенты». А чтобы не слишком бросалось в глаза несоответствие, добавили эпитет: «новые». И точка.

Кто-то когда-то назвал нацизм идеологией лавочников. Сегодняшний социал-дарвинизм — это идеология менеджеров, специалистов по подсчету чужих денег, чужих идей и продуктов чужого труда. А также тех — и они куда многочисленнее, — кто хотел бы походить на них. Менеджеров по духу, а не по букве. Тех, кто разделяет эту идеологию, во много раз больше, чем самого «офисного планктона».

Недаром вся экономика услуг работает на этот стандарт. PR-агентства, дистрибьюторы, девелоперы, провайдеры, рестораторы, банкиры, мерчандайзеры, дизайнеры, юристы, эксперты и проч.

Большая часть прессы и телевидения, все заметные «контенты» обслуживают «менеджеров». Еженедельники и «интеллектуальный глянец» — для менеджера. Просто глянец и женские журналы, фитнес, спа — для супруги менеджера. Подростковое чтение, гаджеты, шоубиз — для его детей. Плюс сериалы из жизни подобных особей, «стильные» кафе, магазины образа жизни. А также «умная беллетристика» в лице Б. Акунина, Л. Улицкой и прочих. С вечным «интеллектуальным» сюсюканьем и ободряющим похлопыванием по плечу: молодец, читатель, не забыл основы школьной программы.

Вот такой набор. А ведь настоящий планктон — это менее 10 % населения страны. Но многие все равно едят, читают, смотрят все то же самое. Когда меньшинство талантливо прикидывается большинством, это и есть гегемония. «Новая интеллигенция» идет тем же самым путем — точнее, ее ведут.

Менеджер сказал — менеджер сделал. К «офисным» пришли гипофиз — моральные императивы стай интеллигенции, чтобы получить на выходе нечто облагороженное. Для простоты им объяснили, что мораль и нравственность — это когда у нас на выборах мухлюют, а они выходят на площадь и требуют прекратить безобразия, млея от своей гражданской сознательности. Это делает их лидерами общества, избранными людьми, уполномоченными давать всему моральные оценки.

Либеральный публицист Александр Архангельский откровенен: «Как ни удивительно, но впервые в русской истории зарабатывание денег и общественное служение перестали быть двумя вещами несовместными. Кем был раньше русский, да и советский интеллигент? Он не умел обращаться с деньгами, презирал тех, кто умел их зарабатывать. Старый интеллигент служил бескорыстно, то есть бесплатно. Сейчас все иначе. Новые интеллигенты очень часто оказываются в бизнесе» (*Архангельский А.* Для новой интеллигенции нет понятия «народ». Интервью в «Московских новостях» // [www.mn.ru/society\\_civil/20120328/314418212.html](http://www.mn.ru/society_civil/20120328/314418212.html)). Это ключевая фраза.

Разумеется, это элементарная подмена, перевертыш. Ведь можно было начать с другого конца и сказать: бизнес у нас нынче пошел интеллигентный и морально ответственный. Готов строить детдома, давать на храмы, на социалку. Но за такие заявления в лучшем случае сразу засмеют. Всем известно, что делают с нашей социалкой «юргенсы» и «кудринь» и для чего в России благотворительность. Кстати, еще в начале «нулевых» писательница Татьяна Толстая вполне серьезно объявила конкурс на прозу, где бы героем был «бизнесмен с человеческим лицом». То есть с социальной ответственностью. И сборник рассказов с такими «лицами», кажется, был опубликован. Почти одновременно с историями о добрых и справедливых милиционерах.

\*\*\*

Без моральной риторики рождение нового гегемона не обошлось. От его провозвестников то

и дело приходится слышать, что, мол, власть очень цинична и развращает общество. Но в обществе, где господствует самодержавие денег, цинизм пронизывает все сословия. Циничен бизнес — потому и намерен одеваться в шкуру интеллигенции. Цинична гуманитарная прослойка, выдумывающая нью-интеллигентов и выдувающая из своей дудочки красивые социальные фантомы. Общество, которое не чувствует себя нацией, обречено на цинизм. Рассуждения в духе академика Д. С. Лихачева об экологии души и т. п. сегодня могут вызвать только смех.

К счастью, у нас есть опыт 1990-х. И обмануть нас снова будет не так просто. Сегодня никто не пойдет в библиотеку за «Новым миром» в поисках поводов для размышлений и руководства к действию. И не станет слушать вождей «новой интеллигенции». Сейчас эти вожди много говорят о политической ответственности. Мы помним, как они толкали власть к кровавой расправе в 1993-м, навязывали стране номенклатурный передел собственности. Сегодня они научились ругать власть, будучи при власти. Определяя ее курс и устами министров требуя срочно уменьшить количество образованных людей в стране. Как точно заметил кто-то из левых лидеров, совершенно очевидно, что те, кто выступал в качестве лидеров протеста, были по отношению к протесту такими же точно узурпаторами, как, с их точки зрения, власть была по отношению к обществу в целом. И даже, может быть, в большей степени, потому что поддержка власти в обществе все равно была выше, чем поддержка оппозиционных лидеров среди их же собственных сторонников.

Именно так это и называется. Обыкновенный цинизм.

Но это все по части морали. А как обстоит дело с идеологией?

Это вопрос куда более конкретный, а главное — насущный. Ведь чтобы «рассерженный горожанин» легко вжился в предложенную роль, его надо про-светить и политически образовать. Объяснить, что полезно и что вредно для общества, о котором ему, согласно его новому статусу, надлежит думать и заботиться.

Как известно, официальной идеологией, вложенной в том числе в уста «новых интеллигентов», у нас является «теория модернизации». Мы более или менее знаем, что это такое. Это нанофильтры в дополнение к ржавой нефтяной трубе. Это амнистия капиталов. Это деградация науки, армии и индустрии. Это реформация православия плюс секвестр всего на свете — бесплатного образования и медицины, пенсионного возраста, родительских прав. Ну и регулярное хождение на митинги.

Если опыт доведут до конца, все эти «ценности» новому гегемону придется принять, а затем заставить принимать и нас. Поэтому следует сказать несколько слов об их происхождении.

После развала СССР и упразднения истмата в статусе интеллектуально модных побывало множество общественных теорий. Теория тоталитаризма, конфликта цивилизаций, конца истории и проч. Не последнее место среди них занимает «теория модернизации». Суть ее, если говорить коротко, заключается в следующем: развитые страны указывают менее развитым их путь. Менее развитые усваивают их

идеологию и проходят их стадии развития — в общем, «модернизируются».

Возникла эта теория в 50–60-е гг. XX в. и использовалась для контроля за бывшими колониями. Эти самые колонии, страны третьего мира, получили политическую свободу, но их нужно было вторично привязать к себе. Уже экономически. В период разрядки «теория модернизации» окончательно была признана несерьезной и пропагандистской. Работы независимых исследователей показали, что метрополии вовсе не нуждаются в новых конкурентах и потому, используя свое влияние и финансовые инструменты, напротив, консервируют и тормозят развитие стран-аутсайдеров. Но после краха СССР «теорию модернизации» вновь вытащили из чулана, чтобы применить к новичкам из бывшего Восточного блока. Вот и вся разгадка. Вот с чем мы имели дело раньше и имеем сейчас. Вот с чем нам предстоит иметь дело в будущем.

Именно «новой интеллигенции» поручено закатать эту капсулу в «толстый-толстый слой шоколада», состоящий из гуманитарных ценностей. И эти люди будут служить нам моральным камертоном и являть чудеса гражданственности. А нам остается лишь наблюдать, удастся ли «новой интеллигенции» заставить власть вновь принять ее на службу и бюджетный кошт.

По большому счету со времен Петра Чаадаева интеллигенция занималась перетолковыванием европейской культуры, называя это «западничеством». Либо развивала идеологию правящего режима, называя это патриотизмом. А если режим был либеральным, то обе функции совпадали, являя собой

наиболее полную картину общественной деятельности интеллигенции — отсюда пошло расхожее выражение «либеральная жандармерия».

Собственно говоря, государство в России, взятое в пределе, в своей высшей точке, — это и есть «либерализм» для верхов и диктатура для низов. Соединить обе сущности в одну и объяснить, что это и есть «модернизация», — вот главная задача, которую власть может поставить сегодня перед интеллигенцией, если в очередной раз призовет ее на службу. Этого-то и добиваются писатели, которые гуляют по бульварам и величают себя новой интеллигенцией.

\*\*\*

Именно сейчас, когда интеллигенция уходит в прошлое, многое в ее судьбе стало понятнее. Само понятие «российская интеллигенция» обнаружило свою местечковость и тавтологичность. Интеллигенция потому, кстати, и потерпела историческое поражение, что была явлением глубоко почвенным и провинциальным — вопреки своим зачастую ультразападническим взглядам.

В Европе, как известно, термин «интеллигенция» указывает просто на образованных людей, интеллектуалов и ничего более не означает. В России же он долго обозначал замкнутое в себе сословие с амбициями учителей нации и подателей благ мировой культуры. Между прочим, последнее обстоятельство решительно опровергает тезис самих интеллигентских вождей об интеллигенции как творческом сословии. Все ровно наоборот. Европейские интеллектуалы именно что создавали пресловутые «ду-



ховные ценности», каждый на свой национальный лад. Российская же интеллигенция жила тем, что пыталась продавать на внутреннем рынке ценности, созданные этими интеллектуалами, но при этом не умела их как следует усвоить. То есть никакой интеллектуальной самостоятельностью она не обладала и приобретать ее не собиралась. Она попросту гнала контрафакт. Творческая вторичность — вот ее главная черта.

Таким образом, интеллигенция и весь ее *modus vivendi* — явление сугубо местное, российское и глубоко почвенное. Никаких европейских аналогов оно не имеет. Поэтому чем большими «западниками» считались те или иные интеллигентские группы (покажите мне хоть одного «западника» в Европе), тем большими почвенниками они были *de facto*, не в обиду официальным почвенникам будь сказано.

Неудивительно, что эпоха постмодерна съела бывших «учителей нации» — во всем вторичных и не имевших навыков духовного самостояния. А что в этом удивительного: ведь постмодерн и есть диктатура вторичности, симуляции. Имели ли представители интеллигентского слоя волю и духовный ресурс для сопротивления? Ответ очевиден. Напротив, насколько это было возможно, они симулировали свою былую идентичность и, так сказать, обозначали присутствие. Но, в конце концов, даже такая стилизация сделалась невозможной: слишком изменился социокультурный контекст.

Так в нашей стране вслед за крестьянством и пролетариатом умерла интеллигенция. Причем ген смерти был заложен в ее организме с самого начала.

Новая политическая реальность всего лишь активировала его.

Но, как известно, свято место пусто не бывает. Где нет претензий на национальное водительство, пусть и несостоятельных, там начинается прямая манипуляция сознанием масс. Именно эти функции выполняет «креативный класс», который пришел на место уничтоженной интеллигенции. Что это такое? Новая примитивная общность, паразитирующая социальная прослойка. Только она продает и навязывает массам не идеологию и мировоззрение, как это делали менторствующие интеллигенты, а готовые стандарты потребления и модели поведения, неизбежные в условиях победившего рыночного фундаментализма. Все это навязывается в чистом виде, без интеллигентского гарнира в виде «духовности». В антиглобалистских кругах это блюдо поэтично называют «религией матрицы».

Любопытно, что новую реальность быстрее заметили и проанализировали публицисты левой ориентации, а не консерваторы и последователи «Вех». Например, историк и социолог Борис Кагарлицкий в своей статье «Загадка креативного класса» справедливо замечает: «По отношению к обществу они (представители «креативного класса») представляют собой явление того же порядка, что и финансовые и биржевые пузыри по отношению к экономике. Главное “производство” креативного класса — это его собственный образ жизни, его вкусы, пристрастия и развлечения... Креативному классу все должны, в том числе и буржуазия. Все слои и группы общества должны преклониться перед его креативностью, а буржуа-

зия должна еще и заплатить. Причем она в самом деле платит. И очень щедро».

Все правильно. В то же время Б. Кагарлицкий уверен в том, что «это не старая творческая интеллигенция, не интеллектуалы-специалисты, не лица свободных профессий, не эксперты-профессионалы, не ученые-исследователи. С ними креативный класс находится даже в некотором противостоянии, точнее — с основной массой старой интеллигенции...».

Но действительно ли нет глубинной связи между бывшими интеллигентами и нынешними «креативными»? И да, и нет.

«Креативные» — преемники интеллигентов в том, что касается эপিгонаства и потребительской психологии. Но если интеллигенция осуществляла эту функцию в рамках культурной парадигмы, то «креативные» реализуют ее в товарных фетишах и символах гламурного образа жизни. Но как бы там ни было, произошло то, что произошло. Социальное тело интеллигенции стало экспонатом исторической кунсткамеры. Ломание копий вокруг этого факта выглядит весьма трагикомично. Пора похоронить усопшего со всеми полагающимися почестями.

Но прежде чем дело дойдет до похоронного ритуала, следует констатировать смерть как медицинский факт. Здесь важны формальности. Это не каприз и не поза. Смерть необходимо удостоверить официально — эту цель, в частности, преследует настоящая статья. Без этой формальности социальное тело покойного еще живет, в то время как тело биологическое уже окоченело. Мало того, иногда социальную жизнь искусственно продлевают. Например,

кто-нибудь не в меру находчивый, переклеив фотографию в паспорте, может воспользоваться документами умершего. Иногда с их помощью удается продать оставшуюся от покойного жилплощадь.

Что такое «квартира» старой интеллигенции? Это ее общественная ниша и вечные претензии на роль нового дворянства. Все это по логике вещей должно аннигилироваться в потоке истории. Но не всех такая ситуация устраивает. Иные готовы, используя подлог, продлить покойному его бумажную жизнь.

Например, болотные вожди. Выводя на улицу «рассерженных горожан», они специально нарекли их «новой интеллигенцией». То есть людьми с умом, честью и совестью. Ум, по мысли оппозиционных лидеров, заключался в том, что оные горожане жили «креативом» — то есть, например, исполняли обязанности офис-менеджеров и копирайтеров, вкладывая в эти занятия данные им Богом таланты. Ну, а совесть и честь — это еще проще. За совестью и честью надо было приехать в центр Москвы с белой ленточкой на лацкане. Там люди, подобные доброму Гудвину из Изумрудного города, раздавали эти моральные достоинства щедрою рукой. В расчете на будущую поддержку. Но авансы не оправдались. Тренд «новой интеллигенции» не задался: представители миддл-класса плохо усваивали тонкие градации интеллигентской этики. Да и сами протесты сдулись, как только левое большинство поняло, что либеральные вожди добиваются не смены системы, а всего лишь смены караула.

На самом деле интеллигенция не может воскреснуть. Новая интеллигенция невозможна. Да и не нужна. Нужен новый слой. Слой органических ин-

теллеktуалов, уважающих национальные ценности, традицию, принципы социальной справедливости и нравственные нормы, включая православную этику. Только такая общность может составить конкуренцию «креативному» классу, который живет на информационную ренту и формирует ложное сознание российского большинства.

## ГУЛАГ И КОЛЛЕКТИВНАЯ ВИНА

**В** Москве на пересечении проспекта Сахарова и Садового кольца осенью 2017 г. была установлена «Стена скорби» — монумент жертвам репрессий советского периода. Событие знаковое, поэтому особую важность приобретает вопрос: способен ли данный монумент выполнить свое предназначение? Может ли он встроить тему ГУЛАГа в общую картину национальной истории таким образом, чтобы не углубить гражданский раскол вековой давности, но снять напряжение, обратив чувства граждан к общим ценностям, которые не могли быть уничтожены даже революцией, гражданской войной и террором?

Репрессии и их центральную «сакральную» дату, 1937 г., определяют как причину всех бед, постигших СССР. На самом же деле репрессии — это не причина, а следствие. Причина — народный раскол и гражданское противоборство. 1917 г. — причина, а 1937 г. — следствие. Революция — причина, ГУЛАГ — следствие.

Запрос общества на концептуализацию темы репрессий и увековечение памяти погибших существует давно. Но, к несчастью, все это время, примерно последние 30 лет, проблема не выводилась за рамки

идеологических и политических противостояний. Она использовалась разными политическими сторонами в ходе актуальной политики (вспомним хотя бы 1993 или 1996 гг.). Такой подход лишь сообщал трагедии национального раскола новую энергию, углублял его.

Неблагоприятную тенденцию необходимо переломить. Попытки сделать это предпринимались. Например, в виде храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на крови, что на Лубянке. Концепция этого храма отражает современное звучание темы репрессий и выполняет важнейшую задачу — примирение нации. Ведь без этого примирения мы не застрахованы от новых противостояний.

К сожалению, приходится усомниться в том, что «Стена скорби» скульптора Георгия Франгуляна в должной мере выполняет задачу гражданского примирения. Монумент представляет собой скульптурный рельеф, заполненный грудой человеческих фигур, с надписями «Помни» на разных языках. Первое, что обращает на себя внимание — искаженные и стертые лица. Они сливаются в безликую серую массу. Так они отражались, скорее всего, в сознании начлагов и вертухаев... Посетителю представлен, как это ни парадоксально, взгляд палача, а не жертвы. Стилистически монумент выдержан в духе авангарда 1980-х (безумно устаревшего сегодня), хотя подлинная трагедия — во-первых, явление архетипическое, а во-вторых, должна возвышать чувства зрителя. В данном случае все происходит ровно наоборот. Не отпускает ощущение какой-то фатальности, затягивающей воронки

истории, непрекращающегося ада, к которому как бы приговорены и прежние, и все последующие поколения — те, кто, по мысли автора, должен «помнить». Поэтому здесь царят скорбь, безысходность, отверженность, одиночество, осуждение.

Иными словами, отсутствует нравственное переосмысление и мудрая дистанция по отношению к трагедии. Идеология проекта утверждает, что лагеря и репрессии — это не преступления конкретных людей, а неотъемлемая часть идентичности наших соотечественников. Именно этот месседж заложен в данной работе, равно как и во многих предшествующих. Таких как «Маска скорби» Эрнста Неизвестного в Магадане или «Сфинксы» Михаила Шемякина, установленные напротив Крестов в Петербурге. Это не случайность и не «авторское прочтение», это системное продвижение определенной идеологии.

Обществу нужен памятник невинным жертвам, а не памятник ГУЛАГу. Вряд ли является хорошей идеей совмещение ракурсов палача и жертвы — напротив, их надо всемерно разделять. Ведь каждое преступление имеет вполне конкретных заказчиков и исполнителей. А тяжесть вины определяется конкретным перечнем деяний. Вместо этого нам — потомкам невинных жертв — предлагается чувствовать себя соучастниками преступления.

Такой подход продиктован концепцией «коллективной вины», которая активно продвигается либеральной трактовкой темы репрессий. Если это так, то ситуация с монументом вызывает не просто сожаление, но серьезную тревогу.



Памятники закрепляют психологическое отношение народа к определенным историческим фигурам, явлениям, понятиям. Памятники репрессиям, выражающие только бесконечную скорбь, — воспитывают в обществе чувство вины.

Такие памятники, как «Стена скорби» накладывают на общество и государство груз вины за прошлое. Один из идеологов проекта прямо говорил, что Российская Федерация является правопреемницей «тоталитарного» СССР. Идея коллективной вины очень удобна для политического освоения темы репрессий. Если возложить вину на весь народ, то использовать его «покаяние», конвертируя его в ощутимые политические бонусы, можно сколь угодно долго: «Ты виноват! Искупи вину в протесте!»

Тема репрессий сегодня приватизирована политическим меньшинством и рассматривается как долгосрочная психологическая подпитка протеста. Увы, но и этот монумент, и все подобные будущие монументы, которыми планируется покрыть все российские города, призывают направить гнев против собственного отечества, против самого себя. Вот главная политическая задача, которая концептуально «защита» в сооружении на проспекте Сахарова на десятилетия вперед. Сам выбор места указывает, что этот политический ресурс отдается на откуп современным протестным меньшинствам.

Памятник «Стена скорби» — это кенотаф, то есть могила без захоронения. Могила должна создавать определенное состояние души, которым хочется поделиться с усопшим. По могиле хорошо видно, какие чувства родственники испытывают к покойному, как они за него молятся и молятся ли. Если она

мрачная, темная и тяжелая — значит, родственники не могут простить смерть близкого человека как Богу, так и самому усопшему. Если надгробие наполнено жизнью, светом и заботой — значит, усопшего по-настоящему любят. В русской традиции в могильных памятниках нет страстей, страданий и боли. Есть радость, утешение и покой.

Какие эмоции будет вызывать «Стена скорби»?

У одних — чувство личной вины: «Мы тут радуемся, а им там плохо». То есть чувство слабости, беспомощности, ослабление воли — все симптомы чувства вины, в данном случае немотивированной. У других — чувство совершающейся сатисфакции, победы над «этим» государством, которое «само себя высекло» и над обществом, которое виновато в том, что создало такое «душегубное» государство.

Идея «Стены скорби» на Сахарова работает на фрагментацию общества и политическую коммерциализацию истории. Это, конечно, неестественная и ненормальная ситуация.

Нам сегодня необходимо раскрыть и понять глубинную природу репрессивных практик советского периода. Нельзя соглашаться с лукавым утверждением, что ГУЛАГ в России возникает неизбежно и закономерно, а Освенцим, Бухенвальд и Талергоф в Европе — исключение и случайность.

Рассматривать репрессии следует как составную часть всей череды трагедий и испытаний всего народа, не отделяя их от Первой мировой войны, революций, гражданской войны, голода, гонений на Церковь, Великой Отечественной войны.

В ситуации, когда само государство увековечивает память жертв репрессий через языческую идею

неисцелимой скорби, виноватым становится народ. Но народ — главная жертва тех трагических лет, которые привели к массовому разрыву мировоззренческих, родственных и культурных связей. Забота о народе, недопущение подобных разрывов в будущем — вот лучшее средство от репрессивных рецидивов в будущем.

«Стена скорби» закладывает в современную идентичность народа противоречие, основанное на чувстве коллективной вины, закрепляет в общественном сознании тезис о нас как народе-убийце, служит не консолидации, а фрагментации общества, не предотвращает возможность повторения репрессий в будущем, а конвертирует этот исторический сюжет в протестную политическую энергию.

## Большое гражданское общество

**С**тратификация общества, конфигурация центров власти, динамика социально-политических процессов меняются на наших глазах и нуждаются в новой интерпретации. Мы вплотную подошли к переоценке ключевых понятий из области социального знания — таких как «гражданское общество», «демократия», «базовая система ценностей», «правовое государство».

Например, термин «гражданское общество» мы сегодня употребляем в устаревшей трактовке — как синоним «активного» и привилегированного меньшинства, ожидающего от государства гарантий сохранения привилегий в ущерб интересам остальных граждан. Новые социальные реалии уже сейчас требуют переосмысления термина в пользу «большого гражданского общества», то есть сплоченного социального большинства с общими интересами и общим пониманием национальных задач.

\*\*\*

Для начала отметим, что запаздывание в переосмыслении ключевых социальных понятий ведет к идиоматизации языка социальных наук — он теряет свои аналитические возможности, постепенно превращаясь в набор застывших понятий

и формул, как это было в позднесоветский период. Идиоматизация языка — ситуация, проигрышная для всех. Сегодня перемены здесь столь же необходимы, сколь и неизбежны.

И народ, и власть имеют дело с устаревшим объяснением термина «гражданское общество», что может приводить к принятию неверных решений в области внутренней политики. Понятие «гражданское общество» — один из «окаменевших» концептов, который в ближайшем будущем сохранит свою ключевую роль, но существенно изменит содержание.

\*\*\*

Два слова об истории понятия.

Когда институт гражданского общества сформировался в XVIII—XIX вв., то далеко не все считали его прогрессивным. Если Томас Пейн категорично утверждал, что «гражданское общество — благо, а государство — неизбежное зло», то Шарль Монтескье, наоборот, был уверен в том, что «гражданское общество — это общество вражды людей друг с другом, которое для ее прекращения преобразуется в государство».

В какой-то мере гражданское общество (ГО) стало результатом частичной десакрализации понятий «государство» и «церковь». На этом фоне новый институт приобрел собственную сакральность, собственные святыни — такие как естественное право, священное право собственности, вера в универсальность прогресса. Поэтому понятие «гражданская религия», впервые озвученное Руссо, было не просто метафорой. Гражданская религия — это религия гражданского общества. Но если в церковь приходи-

ли все желающие, то принадлежать к ГО неимущая часть народа практически не могла. Уже в XX в. Юнгер Хабермас подчеркивал, что лишь немногие личности располагают имущественной независимостью и образовательным статусом, чтобы считаться членами ГО. Защита интересов всех остальных всегда отвечали нормы традиции, а не либерального права.

\*\*\*

С конца XX в. и до недавнего времени ГО состояло из представителей среднего класса и его политического авангарда — креативной прослойки. Здесь был важен принцип группового превосходства: «активная часть общества делает свой выбор» и т. п. Но это скорее лозунг для трибуны, а на языке социологов гражданскому обществу обычно атрибутируется некая социальная миссия, например: «гарант социальной стабильности», «канал обратной связи с государством», «фильтр общественных требований к политической системе» (последнее — из классического определения Дэвида Истона). Главной в этой идее оказывается подмена понятий, желание выдать часть общества за все общество по степени значимости и праву говорить от лица остальных.

Откуда это сектантское стремление к эксклюзивности и превосходству? Дело в том, что к ГО принадлежит слой, которому нужно сохранить отнюдь не символический объем собственности и привилегий. С точки зрения этого слоя, который представляет собой социальное меньшинство, его интересы должны быть удовлетворены государством за счет

интересов более широких слоев. А последним необходимо в первую очередь сохранение социальных прав — это единственный капитал, который у них есть. Плюс ценности традиции и нравственности, которые способствуют сохранению именно этого капитала.

Чтобы заставить государство экономить на более широких слоях ради слоев «креативных», его нужно постоянно шантажировать «болотными», «майданами» и т. п. — то есть использовать политические инструменты.

В науке есть понятие решающего эксперимента. Это процедура окончательной проверки теории на практике. Решающим экспериментом для двух концепций ГО — как легитимного представителя всего общества или как привилегированного социального слоя — стал украинский сюжет. «Майдан», воспринимаемый как пик активности гражданского общества (читай: креативного класса) обнаружил стремление одной части социума решить свои национальные и экономические проблемы за счет другой части. Например, избавиться от реальной индустрии вместе с реальными рабочими местами ради заключения бумажной ассоциации с ЕС. Или ограничить русский язык и русскую культуру в регионах с русским населением. Наконец, просто подавить инакомыслие. При этом нельзя сказать, что в результате майданной активности произошли позитивные социальные изменения, стало больше демократии, больше социальной стабильности, меньше коррупции и т. п. Важно понимать, что данный эксперимент был не только украинским: многие представители российского креативного класса раз-

деляют ценности и идеи своих украинских «собратьев по классу».

\*\*\*

Обратим внимание на то, что оранжевые революции всегда возникают в исполнении именно ГО, которое в теории, напротив, должно быть гарантом социальной стабильности.

ГО существует давно, но в идеологическом ключе о нем заговорили сравнительно недавно. Это случилось, когда ГО стало отождествляться со средним классом, невероятно разросшимся в 1980-е гг., во времена рэйганомики. В то время переход Запада к методам «накачки спроса» и потребительскому рефинансированию имел целью противопоставить советскому гегемону своего гегемона — потребительского. Это решение имело, как выяснилось потом, слишком высокую цену: разросшийся средний класс начал жить не по средствам. Система работала до тех пор, пока финансовая глобализация не достигла своих естественных пределов.

Сейчас эти пределы достигнуты. И средний класс, а особенно его партийный авангард — креаклиат — напуган. Мировая экономическая конъюнктура складывается не в его пользу. В результате общего падения эффективности капитала и мирового финансового кризиса нас ждет новая «великая депрессия», только не американского, а общемирового масштаба. Все это означает, что численность и уровень жизни среднего класса резко сократятся — примерно до показателей 1970-х гг. Большая его часть сольется с «низшим» социальным слоем (многие социологи и экономисты описывают социальное



расслоение будущего по бинарной схеме 90 : 10). «Слияние и поглощение» стремительно идет уже сейчас — отсюда и страх. Философ Славой Жижек описывает это состояние среднего класса как «страх пролетаризации». Отсюда и нарастающая агрессивность экс-гражданского общества, его тяга к «цветным» революциям и ультраправой идеологии.

Почему это ГО «экс-гражданское»? Потому что склонность к «цветным» революциям и ультраправой идеологии превращает его из актора социальной стабильности в актора социальной дестабилизации. По сути, старое «малое гражданское общество», его социальный контингент сходит с исторической сцены. Таким образом, удельный вес в обществе креативного класса резко сокращается и количественно, и качественно, причем по объективным причинам. Само по себе гражданское общество, конечно, сохранится, но составлять его будут представители других социальных групп. Это будет «большое гражданское общество».

Социологам уже сегодня предстоит объяснить и обывателю, и власти смысл происходящих перемен и дать определение «гражданского общества». И первое, что придется сделать, это признать факт подмены, попытку выдать малое за большое. А затем дать определение большого ГО как формы объединения социального большинства. Стоит сказать, что новое «большое гражданское общество» — это то социальное большинство, интересы которого прежде сталкивались с интересами малого гражданского общества, то есть среднего класса и креаклиата. В России менталитет социального большинства связан с понятием социальной справедливости, с широ-

ким пониманием гуманизма как милосердия и ответственности, а не синонима атеизма.

Мы обречены на возвращение к реальной демократии большинства. Чем раньше мы выйдем за рамки выработавших свой ресурс стереотипов, тем быстрее мы сможем взять в свои руки ответственность за свое будущее. И новому большому гражданскому обществу предстоит сыграть в этом решающую роль.

**Т Р А Д И Ц И Я**



## Переосмысление традиции

Слова «традиция», «традиционные ценности», «традиционализм» в последнее время звучат все чаще. И я не знаю, радоваться этому или огорчаться.

Как говорили известные интеллектуалы, начиная с древних конфуцианцев и заканчивая приверженцами современной аналитической философии, прежде чем ставить проблемы, надо договориться о понятиях и терминах. В этом смысле «традиции» не очень повезло. Это слово незаслуженно превратилось в стикер, наклеиваемый на что угодно, подобно «стабильности», «устойчивому развитию», «модернизации» и другим словам с крайне широким спектром употребления. Практика использования терминов-заклинаний без четких смысловых границ обычно сводит на нет результат любой научной дискуссии, а в социально-политической и медийной сферах ведет к развитию манипулятивных технологий. Где нет предметного содержания, там возникает его иллюзия: свято место пусто не бывает.

Но «традиции» не повезло вдвойне. Ее трактовка не только размыта, но и предельно мифологизирована. В консервативной среде о традиции говорят как о фундаменте нравственных ценностей, что само по себе верно, но отнюдь не исчерпывает традициологическую проблематику. В рамках прогрес-

систеской парадигмы «традиция» воспринимается как благопристойное обозначение ретроградства. Истоки этого второго подхода связаны с либеральной социологией и ее догматической идеей «традиционного общества». Например, Юрий Левада еще в 1970-е гг. утверждал, будто бы «традиции» характерны именно для традиционного общества, что они препятствуют нормальному целеполаганию и рациональному поведению в обществе современном.

И сегодня еще довольно часто встречаются утверждения о том, что традиционалистские ценности якобы не способствуют самоорганизации индивидов и общностей, зато, напротив, способствуют поддержанию вертикали власти.

Но при внешней претензии на некую историчность (в самом общем и абстрактном понимании таковой) на деле модернистская идея об архаичности и реакционности всего, что связано с «традицией», направлена на оправдание культурного неравенства. Философ А. С. Панарин справедливо писал в связи с этим: «Борьба современности с прошлым обретает форму борьбы цивилизаций, одна из которых олицетворяет модерн, остальные — устойчивую и агрессивную архаику, не содержащую никаких имманентных предпосылок желаемой общественной эволюции».

Вполне очевидно, что концептология «модернити» напрямую связана с вполне определенной традицией — протестантской. Вот почему Макс Вебер, описывая «дух капитализма», стремился «исследовать вклад в этот «дух» протестантской традиции, продолжающей действовать и сегодня». По существу, часть (секуляризированная протестант-

ская традиция) выдается за целое (цивилизацию модерна). Эта историческая диспропорция заложена в модернистский дискурс глубинное противоречие — противоречие между культурспецифичностью данного дискурса и его претензиями на всемирную значимость и универсализм.

Так, одна из традиций, противопоставляя себя прочим традициям, порождает объективацию этого противопоставления как якобы исторического, эволюционного, темпорального, а не культурного и, в пределе, расово-идеологического, каковым оно является на самом деле. Впрочем, в наиболее кризисные моменты истории XX и XXI вв. подлинная подоплека конфликта между традицией и контртрадицией (а не традицией и «современностью») давала о себе знать в явном и неприкрытом виде. Поэтому стоит согласиться с выводами А. С. Панарина, который утверждал: «Просвещенческий гуманизм, в отрыве от христианского архетипа сострадательности, превращается в идеологию сверхчеловека, претендующего на то, чтобы монополизировать современность и объявить большинство неполноценной расой традиционалистов»<sup>1</sup>. И несколько ранее по тексту: «Благородную открытость просвещения они заменили эзотерикой «демократического» расизма, связанного с убеждением в том, что демократия имеет свой цвет кожи и свой тип ментальности, характеризующий европейского «белого человека». В начале 90-х годов мало кто обратил внимание на тот факт, что «новые демократы» мыслят по-расистски,

---

<sup>1</sup> *Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире.* М., 2003. С. 30.

отказываясь от установок христианского и просвещенческого универсализма».

Не секрет, что социология и психология в эпоху неолиберализма являются идеологическими дисциплинами, выполняя примерно такую же функцию легитимации властных институтов, какую выполнял истмат при социализме. Поэтому социологический анализ традиции развивался в условиях идеологических ограничений. В этой ситуации дихотомия «традиция — современность» использовалась как мягкий вариант и эвфемистическая замена оппозиции «варварство — цивилизация».

В результате «традиция» оказалась в ситуации, в которой находилось и понятие «средневековье», наделявшееся негативно-оценочным смыслом (*dark ages* — «темные века») и лишь частично реабилитированное работами историков «школы Анналов». При этом само понимание традиции было сужено до описания ряда исторически локальных явлений и на уровне обыденного сознания начало восприниматься едва ли не как синоним «средневековости», а та в свою очередь стала синонимом «мракобесия», «непросвещенности», «суеверности».

Так выстраивается лабиринт эпитетов и метафор, попав в который, сознание обывателя уже не находит выхода.

К счастью, воинствующий антитрадиционализм в культуре и науке все же не стал тотальным; сегодня можно с удовлетворением это констатировать. В рамках социологии уже с 1960-х гг. накапливаются предпосылки для «поворота к традиции». Классическая дихотомия «традиция — модерн» постепенно подвергается переосмыслению. Вначале



возникает идея о разных типах модернизации, которые не отрицают, а трансформируют традицию. Затем о традиции начинают говорить как о стабилизационном факторе модернизации, закрепляющем ее результаты и таким образом ускоряющем, а не тормозящем развитие.

В 1980-е гг. появляются исследования, представляющие традицию как многоаспектный, диалектический механизм культурной преемственности и комбинированного развития. В некоторых из них речь идет о *модернизации как части традиции* и о том, что традиция — это важное условие реальных, а не симулятивных демократических процессов, условие гражданской свободы.

Традициология как направление мысли продолжает пробивать себе дорогу в рамках общественно-гуманитарных наук. Переоценка понятия «традиция» продолжается в постколониальных и постсекулярных исследованиях. И сегодня ученый вынужден делать выбор между линейной, эволюционистской концепцией веберовского типа и поствеберовской идеей изменчивости и диалектичности традиции.

Во втором случае он признает, что традиция обладает как устойчивостью, так и изменчивостью, а баланс того и другого обеспечивает целостность структур коллективного опыта в условиях социальных сдвигов и потрясений. И наоборот: если происходит разрыв традиции, как в России в 1917-м и в 1991-м гг. или в период церковного Раскола, это грозит быстрым социальным регрессом.

Сегодня жесткая дихотомия «традиционное общество — модерн» выглядит все более надуманной,

а ее претензии на истолкование логики истории необоснованными. Для многих очевидно, что традиция — это не «любовь к прошлому», а понимание взаимосвязи между разновременными процессами. Традиционализм направлен в будущее, он работает над образом будущего и над целенаправлением в настоящем, используя исторический ресурс.

Например, фундаментальная наука может развиваться только в обществе с сильной традицией. Вне традиции, в рыночном обществе она гибнет по причине среднесрочной нерентабельности. Именно поэтому сейчас наука существует за счет заделов 1970-х гг., новых прорывов не наблюдается, а понятие «научно-технический прогресс» вытеснено ни к чему не обязывающим словечком «инновации». Не случайно покойный Станислав Лем с горечью говорил, что фантасты мечтали о покорении далеких планет, а человечество принялось плодить бесполезные для него виртуальные вселенные. Антитрадиционализм оказался тормозом развития.

Более подробный анализ феномена традиции я изложил в книге «Социал-традиция»<sup>1</sup>. Книга была написана на фоне сдвигов в мировой политике и идеологии последних лет, которые обозначили не только поворот к традиции, но и новое ее понимание — не этнокультурное, а социальное и, в конечном счете, системное.

Какова природа терминов «социал-традиция», «социал-традиционализм»? Строго говоря, семантика «социального» входит в концепт «традиции». Тем не менее, я считаю нужным специально выделить это понятие. Это особенно важно для русского

---

<sup>1</sup> См.: *Щипков А. В.* Социал-традиция. М., 2017.

контекста. Ведь социальная справедливость и традиция — две стороны одного целого — оказались трагически разделены в России накануне 1917 г. Но теперь конститутивное для русской культуры чувство социальной справедливости, прежде отданное на откуп одной лишь левой политике, занимает место в общей логике традиции.

Что такое общество социал-традиции (оно же «большое общество»)? Это общество взаимной ответственности. Такое общество предполагает нерасторжимый исторический договор будущих поколений и поколений предшествующих. Каждое поколение имеет голос в рамках этого исторического консенсуса. Только в этом случае у нации возникает историческая миссия — необходимое условие ее выживания.

Современное состояние России, неустойчивое и неопределенное, с «вакуумом идеологии», преодолимо в рамках нового традиционалистского мышления. Когда оно будет преодолено, русские вернуться к своей исторической миссии, связанной с их византийским наследием.

## Типология направлений консервативной мысли

**В** российской политике консервативное направление — самое проблемное. Русский консерватор постоянно стоит перед проблемой самоидентификации. Какие ценности отстаивать, что сохранять и «консервировать»?

Ведь произвольно выбранная точка на шкале истории России нередко выглядит как отрицание ценностей предыдущего исторического периода. Прежде надо разобраться в главном парадоксе отечественной истории: почему прерывание национальной традиции само по себе превратилось в традицию и повторяется от эпохи к эпохе?

Правящий класс не раз и не два в истории России запускал сценарий прерывания традиции. Так было во время Смуты, церковной реформы (Раскола), в начале XVIII в., в 1917 г., в 1991-м.

Всякий раз мы видим кардинальный пересмотр и ужесточение прежних условий договора власти и общества. Каждый новый исторический отрезок — как игра на понижение.

Коротко вековую политику российского правящего класса (как официальной власти, так и либеральной «оппозиции») можно определить как перманентную революцию сверху и искусственное прерывание национальной традиции. Вспомним

историческую фразу А. С. Пушкина, сказанную при встрече одному из великих князей: «Все вы, Романовы, революционеры». И в пару к ней другую, произнесенную поэтом Максимилианом Волошиным в 1920-е гг., когда он дал Петру Первому такое поэтическое определение: «Земли Российской первый большевик».

Российская «революция сверху» не имела абсолютно ничего общего с так называемой «консервативной революцией» — напротив, явление это скорее противоположное. Такой идеологический и политический формат всегда делал проблемным отстаивание консервативной идеи в России. У нее никогда не было влиятельных защитников. Будучи не в состоянии противостоять революции сверху, консерваторы на каждом историческом витке оказывались в политическом офсайде.

К сожалению, постсоветский период лишь усугубил эту проблему. Это время очередного исторического разрыва. Отказ от советской идентичности, провозглашенный в конце 1980-х, произошел «в никуда». Общество не вернулось ни к какой другой линии развития, ни к какой системе ценностей. Пока общество не определится с отношением к собственной истории, консерватизм не займет подобающего ему места на социальной и политической карте.

«Что консервировать?» — вот главный консервативный вопрос. Но когда этот вопрос ставится, в консервативном лагере начинается разногласия.

Каков сегодняшний консервативный идеал? В ответ на этот вопрос мы чаще всего получаем на-

бор вечных понятий: «семья», «религия», «нация», «былые достижения». Или совсем просто и бесхитростно: «стабильность», «патриотизм».

Представления о традициях, достойных сохранения, у разных консерваторов разнятся.

Вот примерная типология направлений консервативной мысли в России.

### *1. Антикварный консерватизм*

Ориентирован на отдельные фрагменты исторической реальности, вырванные из общего исторического контекста. Например, монархисты с ностальгией думают о престолонаследии и убиенном Николае II. Вопрос о «качестве» российской монархии в те или иные периоды обычно не ставится. Хотя очевидно, что, например, имена Ивана III, Алексея Михайловича, Петра II, Петра III, Павла I, Александра I, Александра II, Александра III символизируют очень разные тенденции в российской монархической государственности, и дело не только в исторической удаленности этих фигур. Иногда речь заходит о претензиях на российский престол кого-то из потомков Романовых, но с какими политическими целями, остается неясным. Такой подход напоминает тоску некоторых европейских консерваторов конца XIX — начала XX в. по сословно-династической Европе. Антикварный консерватизм предполагает фрагментарный взгляд на историю. Нередко он нетерпим к консерваторам иного типа, то есть объективно работает на разъединение, а не интеграцию консервативных идей. К российской политической реальности он не имеет прямого отношения.

## *2. Ситуативный консерватизм*

Другая крайность. Ситуативный консерватизм привязан к сиюминутной политической ситуации. Как правило, это реакция на кулуарность и элитарность политических интересов, на непрозрачность политических решений, на борьбу олигархических групп и кланов в современной России. Все это исключает стратегическую линию и четкую идеологию в национальной политике.

Констатируя данную ситуацию, «ситуативный консерватор» использует консервативную идею просто как синоним необходимости директивных решений и усиления политического централизма. Сама по себе эта позиция понятна и объяснима, но к консервативной идеологии имеет опосредованное отношение. Необязательно быть консерватором, чтобы ее разделять.

На примере украинского кризиса мы видим, что ту же позицию разделяет значительная часть российских левых. Консерватизм и государственничество — естественное и здоровое сочетание. Но нередко все заканчивается призывом: «Нам нужна консервативная политика, причем срочно. Вот политическая программа». По умолчанию считается, что с этой новой прекрасной программой можно победить на выборах и начать новую жизнь. На этом реальное участие в политике заканчивается. Даже в условиях ельцинской мультипартийности не было случая, чтобы консерваторы всерьез засветились на предвыборном этапе, не говоря уже о преодолении пресловутого 5-процентного барьера.

### ***3. Консервативный коммунизм, или «Проект «СССР-2»***

Самое парадоксальное явление в нашем ряду. С одной стороны, условные «консерваторы» советского типа наследуют доктрине исторического нигилизма — то есть традиции отказа от традиции. В этом парадоксальность их позиции. А другой парадокс заключается в том, что как раз они, в отличие от большинства других консерваторов, довольно точно знают, что хотят реконструировать. Им нужна реставрация исторически локального проекта советского социального этатистского государства. Это четко поставленная, но вряд ли выполнимая задача — хотя бы потому, что материальная база СССР разрушена, и воссоздавать ее некому. Не гастарбайтеры же будут строить «новый СССР». Не говоря уже о проблемах с выстраиванием адекватной идеологии.

### ***4. Евразийство***

Трендовый консервативный проект. Включает в себя четкую антизападническую ориентацию, но столь же последовательное неприятие восточного вектора зависимости (не менее опасного, чем западного) отсутствует. Возникает перекосяк. Проект «Русская Евразия» можно обозначить как «мультикультурализм для державников».

### ***5. Национал-консерватизм***

Одна из разновидностей национализма. С евразийцами национал-консерваторы находятся в отношениях прямой идейной и политической конкуренции.



В последнее время русский национализм пребывал на распутье между так называемым имперством и открытым либерализмом западнического толка. Случай Навального — яркое тому подтверждение. Внутри национализма шло размежевание. Возможно, нацистский путч на Украине ослабит позиции либерал-националистов и скорректирует часть националистов в левом направлении.

Иногда возникает впечатление, что деятельность некоторых национал-консерваторов несколько карнавальна и имеет целью маргинализацию самого национал-консервативного дискурса. Например, Иван Охлобыстин в своей «Доктрине 77» сначала успешно маргинализировал имперскую идею, а потом стал вышучивать и православие, рассказывая всему миру о своем целибате.

### ***6. Церковные и околоцерковные консерваторы***

Церковные консерваторы считают, что Русская Православная Церковь ответственна за сохранение всей национальной традиции, а не только внутрицерковной, поскольку эта функция в 1990-е не была выполнена государством и недостаточно выполняется им сейчас.

Другой тезис церковных консерваторов: православие является не только главной («государствообразующей») российской конфессией, но и основой общественной этики, подобно протестантской этике в Европе и США.

Возможности церковного консерватизма ограничены, поскольку церковь по закону отделена от государства и не имеет права создавать поли-

тические организации, а священники не могут избираться в законодательные органы власти. Понимания светскости, аналогичного, например, американскому, позволяющему священнику быть в США заметной политической фигурой, в России пока не выработано.

### *7. Либерал-консерватизм*

Разновидность либерализма, представители которого придерживаются державно-патриотической риторики, не отрицая при этом экономического либерального курса (сырьевая экономика, сворачивание социальных программ, вывоз капитала, зависимость от мировых финансовых центров). Консервативная фразеология вызывает у обывателя иллюзию, что ее носители защищают некие ценности и национальные приоритеты. Что в данном случае консервируется, очевидно. Консервируется российский либерализм. Не как идеология, но как модель развития.

Таковы основные модели консерватизма в России.

В этой типологии есть одна важная закономерность. Каждая из перечисленных групп либо не участвует в реальной политике, либо скрывает под вывеской консерватизма иное политическое содержание. Последнее особенно хорошо просматривается на примере либерал-консерваторов.

Либерал-консерватизм — обычное явление для стран Запада. И американский «неоконсерватизм», и европейский «неолиберализм» исследователи справедливо объединяли в рамках этого направления.

Но для России как страны с периферийной экономикой это явление контрпродуктивно.

Вообще мировая политика и экономика являются собой пример «двойной парадигмы», в которой действует правило центра и периферии. Капиталы перетекают от периферии к центру, то есть из стран третьего мира в страны первого. В этих условиях западные либералы, отстаивая status quo, укрепляют экономику своих стран.

Россия сегодня объективно принадлежит к мировой периферии. Либеральные принципы в России также работают на сохранение этой модели, но для России она означает не присвоение, а отдачу — вывоз сырья и капиталов, утрату внутреннего рынка, захваченного импортом.

Следовательно, западный либерал-консерватор по своей функции именно консерватор: он стабилизирует полезную для своего общества систему. Российский либерал-консерватор, исповедуя те же взгляды, социально деструктивен. Он — «гарант» вывоза капиталов из страны.

Учитывая эту особенность современного мира, необходимо проверить ряд положений, которые до эпохи ультракапитализма считались незыблемыми.

Необходимо поставить вопрос о том, какая позиция на российском политическом поле является объективно консервативной, а какая, пусть даже опирающаяся на консервативные символы, претендовать на звание консервативной не может.

Сегодня это одна из главных фигур умолчания в российской политике. Разрушение российского политического мифа в этой его части — дело очень недалекого будущего. Но сегодня обыватель все еще

уверен: консерватор — это тот, кто носит на груди табличку «Консерватор», набранную готическим шрифтом для пущей наглядности.

К сожалению, в России набирает силу безудержное жонглирование политическими понятиями. Оценочных суждений много, а критериев политической принадлежности мало. Главный из них связан с ответом на вопрос: как соотносятся экономика и идеология?

В той разметке политического поля, которая сегодня присутствует в сознании рядового обывателя, реальные консерваторы не занимают положенного им места. Но, в конечном счете — исторически — Россия неизбежно придет к необходимости консервативной политики.

Потому что единственная его альтернатива — либерализм — в России, как в любой стране мировой «периферии», не выгоден большинству. Следовательно, он может быть только авторитарным. Или не быть вообще.

И это основная причина, по которой отечественная марка либерализма стремится приобрести консервативную окраску.

## Трансформация консервативной повестки

Сегодня консерватизм существует в рамках так называемого неолиберального консенсуса. Современный неолиберализм помимо политической идеологии представляет собой культурные институты и модели самоидентификации, которые определяют идентичность современного обывателя. Причем даже такого обывателя, который совсем не интересуется политикой.

Матрицу неолиберализма составляют сценарии массового потребления, система «толерантных» табу, привилегии меньшинств, христианофобия, маргинализация института семьи, отрицание биологического определения пола и многое другое. Консерватизм включен в эту парадигму как одна из допустимых форм полемики о ценностях при условии поддержки общей либеральной системы социальных нормативов и регуляторов.

Эта поглощенность консерватизма неолиберальной социокультурной матрицей определяет сегодняшнюю специфику его существования. Консерватор в этих условиях не может ясно указать на те социальные институты и практики, которые он хотел бы сохранить или перестроить, поскольку они выстроены под либеральную модель. Максимум, что он может — это напоминать обществу о важности

«традиционных ценностей» и «христианской морали». При таких условиях, демонстрируя некоторое свободомыслие на словах и обеспечивая видимость общественной дискуссии, консервативная позиция фактически лишь помогает укреплять либеральные институты.

Следствием этого положения является размытость самого понятия «консерватизм», которое в широком бытовом употреблении остается синонимом «косности», «отсталости», «старомодности». Такие коннотации способствуют решению одной конкретной политической задачи. Эта задача состоит в том, чтобы расцепить в сознании обывателя консерватизм с концептосферой понятия «традиция», которое положительно маркировано в сознании того же обывателя.

Целью современного либерального капитализма является устранение либо перестройка традиционных институтов, включая церковь, семью, нацию, систему образования. Ведь всякая традиция способствует утверждению в обществе единых правил и прав, то есть де факто уменьшению социального неравенства, в то время как нынешняя социальная модель основана на привилегиях меньшинства, на культивировании различий, фрагментации общества и дроблении политической, культурной и любой другой субъектности. Древний принцип «разделяй и властвуй» перенесен сегодня в область самоидентификации. И современный консерватизм, построенный на системном мышлении, на архетипе целостности и единства, пока ничего не может этому противопоставить и предотвратить разрыв традиции.

Тем временем Церкви настойчиво предлагается отказаться от ряда догматов — например, от понятия «грех», от так называемого тезиса об исключительности Христа, от церковнославянского языка службы, от осуждения однополых союзов. А ведь однополые союзы не просто некое исключение, они призваны трансформировать весь институт семьи, от которого зависит воспроизводство и содержание других общественных институтов. А именно — общепринятой морали, гражданских консенсусов, профессиональных групп, образовательных стандартов и даже принципов экономической политики. Негласные нормы поведения в обществе производны от того, что закладывается семьей, при этом семья в среднем всегда более традиционна и более «солидарна», чем общество в целом.

Неолиберализм противопоставляет нации искусственно спроектированные сообщества. Для этого культивируются социальные различия, а не сходства. Общество фрагментируется, превращаясь в конгломерат меньшинств, миноритарных социальных групп. Вместо исторических национальных государств пропагандируется «мир, состоящий из регионов». В системе образования доминирует принцип узких компетенций вместо единых системных знаний и научно-критических норм.

Все эти явления свидетельствуют о нарастании социального регресса. Регресс порождает ощущение безвозвратной утраты обществом его бесценного исторического опыта, а консерватизм при этом лишается своих основных исторических позиций. Принимая предложенную ему социальную повестку, современный консерватор вынужден имитиро-

вать связь с историей, играть роль эдакого общественного архивариуса или музейного работника. Но он не в состоянии по-настоящему говорить от имени традиции, представлять ее дух и букву. Такова роль консервативной мысли в политической реальности позднего модерна. Эту ситуацию можно назвать неолиберальным «пленением» консерватизма. Но, к счастью, ситуация не настолько безвыходная, какой кажется на первый взгляд.

Новый и в чем-то неожиданный шанс для консерватизма связан с нарастающими проявлениями мирового кризиса, в условиях которого происходит быстрый износ прежней, неолиберальной идеологической постройки.

В экспертном сообществе уже давно открыто констатируют: «Либерализм имеет, да и всегда имел крайне мало общего с демократией. В рамках этой удивительной доктрины 85 % считаются «не соответствующими цивилизационным стандартам», поэтому никакие нормы на них не распространяются. Авторы небезызвестной брошюры «Унтерменш» были бы довольны такой социальной проекцией своих идей»<sup>1</sup>.

И эта ситуация имеет историческое объяснение. Русский философ А. С. Панарин указывал, что просвещенческий гуманизм, в отрыве от христианской сострадательности, превращается в идеологию сверхчеловека, который стремится «монополизировать современность и объявить большинство неполноценной расой традиционалистов».

---

<sup>1</sup> *Белжеларский Е. А.* Распад либеральной идентичности // Плаха. 1917–2017: Сборник статей о русской идентичности. М., 2015.



Кризис либеральной модели дает консервативному направлению «второе дыхание», новый исторический шанс. Но воспользуются ли консерваторы этим шансом, смогут ли сформулировать свою социальную позицию, свои идеалы и найти свой язык — это пока открытый вопрос. Главная проблема в том, что в условиях кризиса либерализма не сам консерватизм находит в себе силы выйти из политического гетто, но исторические обстоятельства ему в этом помогают.

Зададимся вопросом, что конкретно мы увидим в ближайшее время под вывеской консерватизма при таком исторически благоприятном для него кризисном сценарии? Здесь необходимо сделать отступление в сторону типологии современного консерватизма.

Рассматривая консерватизм как мировое явление, ученые выделяют множество его разновидностей — традиционалистский, реформистский (либеральный), либертариистский, неоконсерватизм... В предыдущей главе я выделил антикварный консерватизм (ориентированный на тот или иной фрагмент исторической реальности, например романовскую монархию времен Николая Второго), резонерский консерватизм, «комконсерватизм» (консерватизм советского типа), евразийский консерватизм, либерал-консерватизм, а также симулятивный консерватизм националистического толка, церковный и околоцерковный консерватизм, социал-консерватизм.

Как можно заметить, эта сумма частей едва укладывается в рамки обобщающего их понятия, и это, в общем, закономерно. Но одна из существенных современных тенденций состоит в том, что в условиях нарастания мирового кризиса все заметнее стано-

вится невозможное ранее парадоксальное сближение консервативных и некоторых левых идей, прежде всего идей социальной справедливости и социального государства, своего рода политическая «рокировка». По всей видимости, это явление не только российского, но мирового масштаба. Так, например, Марин Ле Пен использует повестку социалистов, предлагая лозунги, близкие рабочему классу, синим воротничкам. Она сводит воедино вопросы заработной платы, условий труда, трудоустройства — и проблему миграции, иностранной рабочей силы.

Националисты и евроскептики отбирают у левых уличную и рабочую аудиторию, поскольку предлагают свои пути решения проблемы конкуренции и трудовой занятости, пусть и в контексте миграционной темы. Российские левые публицисты отмечали этот феномен двойной аудитории. И в связи с этим утверждали, что успех Национального фронта — результат «банкротства» французских левых, которые дали либеральному мейнстриму себя поглотить, отказались от борьбы и в итоге потеряли сторонников, которых подобрали другие. Те, кто не побоялся четко заявить свою позицию.

Есть все основания сетовать на инертность европейских левых. Но лично я вижу в этой ситуации и более общую закономерность самого идеологического дискурса. Это проявление гибридного сознания позднелиберальной эпохи, точнее, его проекция на сферу политики.

Рост такого явления, как консервативный социализм или социал-консерватизм, сегодня очевиден. В России этот процесс набирает силу, о чем свидетельствуют статьи, опубликованные в философ-

ском сборнике «По-другому»<sup>1</sup>, а также в альманахе «Тетради по консерватизму». В последнем в качестве лейтмотива проходит следующая мысль: «Памятуя, что Февраль был попыткой втиснуть Русский мир в «либеральный проект», а Октябрь — в еще более жесткий формат проекта коммунистического, мы можем, наконец, оценить по достоинству все еще не реализованный потенциал того, что можно обозначить как „консервативный проект“»<sup>2</sup>.

В отличие от классического консерватизма, русский социал-консерватизм вскрывает роль традиции как движущей силы социогенеза и очищает «консерватизм» от таких оценочных понятий и ярлыков, как «пассеизм», «охранительство», «архаика», «патриархальность». Он трактует традицию как интегральное явление, как диалектический процесс, включающий в себя и исторически устойчивые, и изменчивые, новационные содержания, устанавливая между ними необходимый баланс. Например, идею социальной справедливости такой консерватизм склонен возводить к нормам христианской этики, а нормы демократии — к влиянию общины как исторической формы «народоначалия».

У части консервативного лагеря в последнее время растет интерес к левой политике. Вполне очевидно, что при сохранении нынешних тенденций в мировой политике этот идейный синтез в России будет укрепляться и оказывать влияние на развитие консервативной мысли.

---

<sup>1</sup> По-другому: Сборник статей о традиции и смене идеологического дискурса. М., 2017.

<sup>2</sup> Поляков Л. Слово к читателю // Тетради по консерватизму. Альманах Фонда ИСЭПИ. № 3. М., 2016.

## Образ будущего и социал-традиция

**П**рогностические возможности — это один из критериев применимости любой научной теории. Но есть ощущение, что сегодня тема будущего порождает особенно высокий, как никогда ранее, уровень дискуссионности. Причем отмечают это как люди науки, так и обыватели.

Нам, русским, эта ситуация хорошо знакома: она возникала в СССР как раз перед перестройкой. Но теперь размах происходящего явно масштабнее. Думаю, сегодня мы стоим на пороге новой, на этот раз — уже мировой перестройки.

Еще недавно считалось, что неолиберальный консенсус способен обеспечить устойчивое развитие обществу в мировом масштабе. Об этом шла речь в концепции «конца истории» Френсиса Фукуямы. Но не далее как в 2017 г. Фукуяма сам публично отрекся от своей идеи. Конца истории не произошло и, мягко говоря, не предвидится. Теория конфликта цивилизаций Самюэля Хантингтона также теряет свои объяснительные возможности. Ведь она предполагает, в частности, что внутри самой «цивилизации № 1» — то есть современного Запада — все в порядке, это бесконфликтная зона. А конфликт — он с чужаками, с «экзистенциальным Другим».

И вот в последние годы выяснилось, что внутри правящих элит «золотого миллиарда» назрел серьезный раскол по многим вопросам. Создавать ли новые точки конфликтов на мировых окраинах? Продолжать ли эмиссию доллара? Идти ли на трансатлантическое и транстихоокеанское партнерство? Становится все труднее обеспечить стабильность мировой финансовой системы и политический контроль над миром. Многие процессы становятся непредсказуемыми. В десятые годы XXI столетия случились такие неожиданности, как Brexit, победа несистемного кандидата на выборах президента в США, национальное воссоединение русских Крыма со своей большой родиной, провал попытки либерального переворота в Турции, успехи асадовской коалиции в Сирии. Все это было невозможно раньше, при старом экономико-политическом режиме. Сейчас в нем происходят необратимые изменения.

Прежняя парадигма по большому счету уже не работает. Вопреки ее цивилизаторско-мессианской идеологии и гуманистической риторике мы наблюдаем архаизацию системы, откровенную ставку на ультраправую идеологию.

Либеральная система ценностей все больше расходится не только с нравственными нормами, но и с объективной реальностью. Невозможно говорить о свободном рынке и правах человека, одновременно поддерживая введение экономических санкций. Бессмысленно говорить о демократических процедурах, когда на выборах вместо борьбы идей задает тон война компроматов. Свобода прессы бесполезна, если вся пресса скуплена одной из сторон

конфликта. Идея национального выбора теряет смысл, когда право на независимость дается одним нациям, но отнимается у других.

При этом защита меньшинств превратилась в дискриминацию большинства, а христианофобия стала общим местом. Миссионерство и апокалиптические химеры, навязчивый поиск врага в виде «оси зла» или «стран-изгоев» в международной политике и гражданских верованиях ряда западных правительств заставляют вспомнить о бердеявском «новом Средневековье».

По существу мы имеем дело с квазилиберализмом, давно разорвавшим связь с собственными историческими истоками. И эту связь невозможно восстановить.

Как говорил Святейший Патриарх Кирилл, от лозунга Французской революции «Свобода, равенство, братство» не осталось почти ничего. Действительно, о равенстве и братстве речь давно не идет, свобода превратилась в инструмент манипуляций, а то, что сегодня называется «демократией», люди, стоявшие у истоков европейской демократии, назвали бы разве что олигархическим правлением.

Социальное неравенство вновь оправдывается культур-расистскими доктринами, едва прикрытыми эвфемизмами и пустыми политологическими клише. Например, замена понятия «культурная неполноценность» на «несоответствие демократическим стандартам» вряд ли может обмануть критически мыслящую аудиторию: эвфемизмы — продукт языка, а не социально-политической реальности. В действительности под тонким флером псевдodemократической риторики о защите прав и свобод

Запад являет миру своего собственного внутреннего варвара. Неудивительно, что в 2014 г. США и Канада не поддержали инициативу ООН о запрете героизации нацизма. Как бы иначе они поддерживали бандеровский режим в Киеве?

Художник Максим Кантор несколько лет назад выразился по поводу архаизации западного общества предельно откровенно: «Искусственное язычество и новое дикарство есть выбранная цивилизацией роль по отношению к бывшим колониям. Решалась важная задача: искали точную интонацию в диалоге с Третьим миром, который декларировали равным себе, хотя настоящего равенства, конечно, никто в виду не имел. Можно было ожидать, что дикарей приблизят к цивилизации, однако границу с Третьим миром маскировали иначе: сами притворились дикарями и таким образом изжили комплекс стыда по отношению к обездоленным и решили проблему обучения неграмотных. Бремя белых приятно нести, когда разрешено бить туземцев по пяткам, но если требуется уступать туземцам место в трамвае, то на кой ляд такое бремя белых? Искусственное дикарство избавило христианскую цивилизацию от невыгодной сегодня роли миссионера — ответственность перед «малыми сими» только мешает; нам нечему научить дикарей»<sup>1</sup>.

Так выглядит «новая дикость» — внутренний варвар современного мира, мнящего себя цивилизованным.

Проанализировав современный политический жаргон, мы обнаружим в нем набор часто повто-

---

<sup>1</sup> *Кантор М.* Перспективы авангарда // Перелом. Сборник статей о справедливости традиции. М., 2013. С. 89–90.

ряющихся и давно потерявших смысл понятий — таких как «открытое общество», «тоталитаризм», «демократические стандарты». Часть из них — это слова-пустышки, а другая часть (например, «демократия») — понятия с искаженным, превратным содержанием. Нам, русским, данное явление известно по брежневской эпохе — как один из признаков «застоя». И действительно, спутанность, закостенелость, идиоматизация социально-политического языка говорит о том, что современная политика все время ходит по кругу, при этом ни одна мировая проблема не решается. Имеет место кризис доверия, кризис легитимности и в итоге кризис идей.

Экономист, философ и социолог Иммануил Валлерстайн давно прогнозировал данную ситуацию на теоретическом уровне — еще когда дал одной из своих книг название «После либерализма», в которой, в частности, писал: «Мне кажется, нам пора трезво взглянуть на историю либерализма, чтобы увидеть, что можно спасти после его краха, и понять, как можно бороться в трудных условиях неопределенности того наследия, который либерализм завещал миру»<sup>1</sup>. Но, на наш взгляд, он был не совсем точен. Речь сегодня идет не только о либерализме, но и о консенсусе, который можно назвать лево-либерально-консервативным, поскольку условный либерализм старой школы давно сошел с исторической сцены, а современный неолиберализм — это результат поглощения соседних идеологий, которое и привело общество к ситуации принудительного единомыслия.

---

<sup>1</sup> Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003.



По существу неолиберальный идеологический дискурс представляет собой конструкт из ультралиберальных, квазисоциалистических и квазиконсервативных идей. Приставка «квази» в двух последних случаях необходима. Условный консерватизм в действительности специализируется на консервации существующего миропорядка, а вовсе не традиционных ценностей. Условно «левый» тренд подменяет решение социальных проблем практиками избирательной правозащиты, отстаиванием интересов разных меньшинств и т. п. При этом неолиберализм переходит из разряда «горячих» в разряд «холодных» идеологий, а неолиберальный мир переживает фазу обскурации и проявляет признаки стремительного культурного регресса.

Но процесс архаизации и саморазрушения современного общества опасен для всех — и для виновных, и для их жертв. Современному обществу нужна кардинальная смена парадигмы. Именно поэтому западный мир оказался на пороге «перестройки» — в ситуации, аналогичной ситуации позднего СССР. Возникает проблема оптимальной модели развития, которая включает в себя тот или иной образ будущего. Еще в конце XX в. можно было бы говорить о множестве вариантов такой модели. Но сегодня — во многом по причине нашего бездействия — набор вариантов будущего предельно сузился. Поэтому будет более корректно сказать, что на данном этапе возникает точка бифуркации, попросту говоря — развилка.

Мировые элиты, или, как любят выражаться американцы, «глубинное государство» (deep state) — стоят перед выбором: пытаться сохранить мировой

контроль с помощью разжигания конфликтов или признать, что глобализация достигла пределов, и начать демонтаж политико-экономического и идеологического скелета современного западного проекта. Первый путь — это новые гуманитарные бомбардировки и санкции, поддержка ультраправых кругов в странах-сателлитах (Украина, Прибалтика, Польша, часть Сирии и др.). Первый путь связан с большими жертвами и большой кровью, при этом он дает лишь небольшую историческую отсрочку кардинальному решению проблем. На данном этапе выбор сценария еще может влиять на сроки грядущих перемен, но уже не способен их отменить. Это вопрос времени, а не принципа. Поэтому есть смысл рассматривать именно этот второй сценарий — кардинальную смену парадигмы развития.

Первое, что необходимо сделать — это признать тушиковость, ошибочность и аморализм той модели развития, которая называется «колониальный капитализм» и «неолиберальный глобализм». Без признания единого исторического и идейного базиса сперва колониалистского, затем нацистского и наконец неолиберального глобалистского проекта — невозможно оздоровление общества. *«Колониализм — нацизм — неолиберальный глобализм»* — вот комплекс идей, от которого мы должны отказаться. Этот отказ — необходимое условие устойчивости и предсказуемости будущих перемен. Перемены невозможны без признания вины и без покаяния. Не за отдельные факты апартеида, расизма и дискриминации, а за всю доктрину цивилизационного превосходства.

Также необходимо понимать, что нацизм и большевизм — это не «два тоталитарных режи-

ма», а лишь составные части тоталитарного проекта, основанного на вульгарных трактовках натурализма и позитивизма. И хотя история последних трех веков искажена фанатичными адептами этого проекта, она, к счастью, включает в себя и примеры морального стоицизма, и духовное сопротивление, и свободное жизнетворчество людей, не зависимых от духовного порабощения этой мертвой идеологией.

Второе, что надо признать, — это патологический характер сознания, основанного на *отказе общества от собственной — христианской — традиции*. Ни одна цивилизация в мире кроме западной никогда не строила свое развитие на разрушении собственной традиции, на отказе от нее. Это характерно только для сознания «первого мира». Без преодоления болезненной христианофобии и исторического вандализма, без возвращения к идее договора поколений и нравственных ценностей невозможно восстановление фундаментальных общественных начал.

Восстановление традиции означает в том числе и сохранение ценностей классической рациональности и научно-критического мышления, которые необходимо очистить от идеологических спекуляций натурализма и позитивизма. Без возврата к *подлинной рациональности* не может быть и полноценного восстановления христианского универсализма.

Когда оба условия будут выполнены, западное общество вступит на путь исцеления и духовной репатриации.

Речь сегодня идет о том, чтобы выйти из ситуации с наименьшими потерями для всех. И условием

этого выхода становится смена всей парадигмы консенсуса, а не только либерализма как такового — поскольку она давно не «покрывает» ту социальную реальность, которая приходит на смену прежней.

Сегодня принято говорить о консервативной альтернативе авторитарному неолиберализму, но эта идея вызывает много вопросов. Прежде всего: исторически консерватизм — это XVIII–XIX вв., реакция представителей «старого режима» на буржуазную революцию. Но их давно нет. Тогда что предлагается консервировать, христианские ценности? Но они явно изгоняются из современного общества, в Конституции ЕС христианство не упомянуто. На практике сегодня возможен только ситуативный «консерватизм» — сервильный, прислуживающий отжившей свой век системе, где права и экономические свободы существуют не для всех, а для одних за счет других. Современный консерватизм не имеет собственной повестки и теряет смысл в условиях искусственных социальных различий и бесконечных «инноваций». Консервативная позиция провозглашается с единственной целью: слегка подкорректировать набор политических понятий, но не менять систему вещей. То есть заморозить ситуацию. Но заморозить ее без эскалации социального насилия уже нельзя: это первый — фатальный и тупиковый — сценарий «выхода» из кризиса. Иными словами, консерватизм, не имея собственной исторической повестки, не может встать на ноги.

Что касается социализма, то у него есть будущее, но лишь в том случае, если он найдет в себе силы вырваться из удушающих объятий неолиберализма. Но при этом не надо путать социализм сегодняш-

ний с советским и тем более с коммунистической идеологией. Вопреки консервативно-либеральной критике, такой социализм не отрицает права на частную собственность, он лишь выступает против крупного капитала и транснациональной финансовой олигархии, которые препятствуют реальной демократии, и за государство с широкими социальными гарантиями и экономическим суверенитетом. Разумеется, все это возможно лишь при опоре на государство и традиционные модели социальной коммуникации — поэтому такой социализм выступает за сильное национальное государство, активную социальную роль Церкви, за укрепление института семьи и нравственные критерии в обществе. Такой социализм неотделим от традиционализма — более того, он прямо вытекает из него.

Мы переживаем уникальный исторический период, когда неизбежна трансформация привычного политического спектра. Вместо знакомой триады «консерватизм — либерализм — социализм» мы очень скоро окажемся в рамках другого треугольника: «национализм — социализм — традиционализм».

Что касается национализма, то он вряд ли будет самостоятельным идеологическим течением, скорее — составной частью других идеологий. В принципе национализм уже сейчас существует в двух непохожих разновидностях. Одна — это неонацизм, используемый транснациональной финансовой олигархией для перестройки территорий, рынков, демографических и культурно-языковых пространств, для развязывания локальных войн. Другая — это национализм, которому чужды идеи

расового неравенства, который имеет давние культурно-языковые и исторические корни. Именно этот второй тип постоянно попадает под удар позитивистской и конструктивистской идеологии, трактующей нацию как «воображаемые сообщества».

Наконец, традиция и традиционализм. Они — системообразующий фактор новой идеологической парадигмы, точка схода ее частей — социалистической, собственно традиционалистской (в ее локальном, «местном» понимании) и элементов демократического, культурного национализма. Это социал-традиционалистская модель развития общества — с этатистским государством и справедливым распределением общественных благ. Это, в частности, восстановление в сознании людей связи прошлого и будущего, синтез двух модальностей истории — «наследия» и «проекта», — позволяющий устранить исторические разрывы.

В рамках социал-традиционалистской модели традиционализм имеет два значения — локальное (национальная культура) и универсальное. Традиционализм в широком, универсальном смысле — это уважение ко всем традициям как основе демократии и социогенеза, если только они не исповедуют идеи превосходства. В рамках универсального традиционализма все культуры и цивилизации считаются уникальными в равной мере. В этом случае вступает в силу закон их несравнимости и несоизмеримости, то есть принцип «культурно-ценностного плюрализма».

Разумеется, в случае реализации социал-традиционалистской модели общества уйдет в прошлое тенденциозная концепция, основанная на дихото-

мии «традиция — современность». Сегодня под видом современности чаще всего выступает одна из существующих традиций, претендующая на глобальный статус, что по-прежнему указывает на колониалистский тип мышления. В этом случае культурно-исторические особенности выдаются за некую историческую стадильность. Понятна и очевидна подмена, возникающая в рамках этого подхода. Части политических элит придется переосмыслить прошлое и принести покаяние за колониалистскую идеологию, насаждавшуюся несколько веков и породившую как радикальную форму колониализма (нацизм), так и авторитарную реакцию на него (коммунизм).

Итак, социал-традиционализм принимает на себя функции, позволяющие формировать идеологический консенсус, в рамках которого уживаются вместе идеи социализма, культурного национализма, религии и собственно традиции. Социал-традиционализм станет основой восстановления в правах реальной демократии большинства. Именно традиция является ядром реальной демократической системы, поскольку лишь ценности традиции имеют общеобязательный характер для всех социальных слоев.

Вытеснение из исторической памяти ошибок и преступлений недопустимо. Свободно мыслящий человек не может разделять пещерные и отжившие свой век идеи — ни саморазрушение культуры и «новую дикость», ни идею культурно-расового и цивилизационного превосходства. Эти фантомы сознания разложили общество. Необходим трезвый взгляд на историю, глубокая перестройка культур-

ной и социальной политики, полный отказ от варварской идеологии XX в., которая превозносила одних людей над другими, сиоминутное над историческим, материальные ценности над нравственными. Период добровольной исторической дикости завершается, эта страница истории будет без сожаления перевернута. Никто не будет в будущем выдавать лицензию на «цивилизованность» и угнетать другие народы.

Правда, инерция колониалистского проекта, всемирного «крестового похода», еще сильна, но основания этой доктрины уже пошатнулись. Наша задача — осторожно демонтировать и деактивировать данный проект, прежде чем он рухнет нам на голову, выйти из опасной идеологической зоны до завершения отпущенного нам исторического срока.

Новый Большой стиль стучится в сердца европейцев, русских, американцев, африканцев, азиатов, австралийцев. Он разрушает индустрию лжи и фальсификаций. Люди хотят вернуть себе законное право на прямое высказывание, право говорить друг с другом на более человеческом языке и строить более человеческие отношения. Стратегические решения о том, как двигаться по новому пути, предстоит принять в ближайшее время.



## Заключение

**И**з нескольких вариантов названия книги мной был выбран именно этот — достаточно провокационный, с аллюзией на советский опыт. Но это вовсе не означает какой-то категоричной позиции, позитивной или негативной, по отношению к советскому наследию. Речь идет о другом. О разрушении распространенного стереотипа, согласно которому после советской эпохи страна живет вне определенной идеологии, а в мире якобы наступила эра идейного плюрализма.

Только отказ от наивных представлений о законах идеологического пространства позволяет исследователю и читателю погрузиться в мир причудливых порождений современной идеологии и изучать их, как натуралист изучает разнообразие тропических насекомых или подводной фауны. Такой анализ тем более необходим, что в рамках современного идеологического дискурса постоянно формируются новые формы тоталитарности. В обществе по-прежнему властвуют идеологические табу, подавление свободы совести и искусственное блокирование «нежелательных» направлений мысли.

Сегодня, как и в прошлом веке, свободная от идеологии социальная позиция просто невозможна. При этом успешная идеология стремится подать себя как систему самоочевидных суждений и даже более

того — присвоить себе право решать, что является идеологией, а что не является. В таких вопиющих расхождениях между позицией говорящего и предметом разговора заключается взрывной потенциал современного общества — усталого, изнемогающего под грузом постмодернистских клише и вымученного «апофеоза беспочвенности».

Это с одной стороны.

С другой стороны, мы живем в интересное время. Мир стоит на пороге больших перемен, и никто до сих пор не знает их направления.

Общество остро чувствует потребность восстановить в правах классическую демократию большинства, заменив ею «конкуренцию элит» и «глубинное государство», заменить борьбу компроматов подлинной борьбой идей и начать делать самостоятельный выбор. Оно нуждается в прозрачной системе принятия решений вместо постоянного сговора и авантюрных проектов.

Вместе с тем мы стали свидетелями раскола мирового правящего класса. Мы видим попытки уйти от идеологического контроля финансовых групп, выкинуть на свалку истории мертвые идеи авторитарной технократии.

Приведет ли все это к пересмотру устаревших идеологий? Готов ли истеблишмент отказаться от безответственного глобалистского проекта, который начинает разваливаться у нас на глазах? Или он готов принести в жертву абстрактному «развитию» новые миллионы человеческих жизней?

В любом случае перед нами сегодня не стоит вопрос: «С идеологией или без?» Есть другой вопрос:

«Какую идеологию мы вольно или невольно принимаем?»

В этой книге я попытался описать актуальные идеологические тренды — примеры коллективной переоценки ценностей, которая, раз начавшись, уже не остановится на середине пути. Я верю, что уже в самом ближайшем будущем мы навсегда уйдем от навязанного нам общеобязательного формата разномыслия, от безликого образа общечеловека, от «свободы» поработать ближнего и «открытого общества» закрытых, разобщенных и равнодушных людей.

Переоценка ценностей — это в первую очередь ответственность. Поэтому нам предстоит многое для себя решить, отбросить прежние догмы — прежде всего привычку относиться к человеку не как к образу и подобию Божьему, а как к инструменту для достижения чьих-то целей.

И, разумеется, больше всего в перспективе идеологического будущего меня интересовала роль моей страны и моего народа. Я должен сказать, что нам, русским, предстоит совершить огромное усилие, чтобы выжить и вовремя сойти с приготовленной нам исторической «плахи». Но я верю, что это историческое усилие состоится. Нам удастся сохранить самих себя и освободить нашу духовную родину, христианскую традицию.

## **Об авторе**

*Щипков Александр Владимирович* — политический философ, общественный деятель, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, действительный государственный советник РФ 3 класса, один из ведущих российских специалистов по религиозно-политической ситуации в стране и мире.

### **Монографии:**

- Во что верит Россия. СПб., 1998.
- Христианская демократия в России. М., 2004.
- Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики. СПб., 2014.
- Национальная история как общественный договор: от экономического гегемонизма к консенсусу традиций. СПб., 2015.
- Диалектика экономического и религиозно-этического в становлении русского социал-традиционализма. М., 2015.
- Социал-традиция. М., 2017.

### **Публицистика:**

- Соборный двор. М., 2003.
- Территория Церкви. М., 2012.
- Религиозное измерение журналистики. М., 2014.
- Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы. СПб., 2015.
- До и после политики. М., 2016.

## Содержание

### **Предисловие**

Состояние идеологического пространства . . . . . 5

### **ИТОГИ XX ВЕКА . . . . . 19**

История как общественный договор . . . . . 21

Смысл революции . . . . . 29

Магия чисел. 1917–2017 . . . . . 37

Нацизм . . . . . 44

Тоталитаризм . . . . . 50

Глобализм . . . . . 68

### **РЕЛИГИЯ . . . . . 77**

Постгуманизм . . . . . 79

Постсекулярность . . . . . 94

Светское государство . . . . . 103

Либерал-православие . . . . . 109

Сакральная география . . . . . 119

### **ОСВОБОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА . . . . . 131**

Валдайские тезисы Путина . . . . . 133

Чужая речь . . . . . 140

Язык Церкви . . . . . 160

### **РУССКИЕ . . . . . 175**

Русофобия . . . . . 177

Похищение русской идентичности . . . . . 198

Русско-российский вопрос . . . . . 232

### **ОБЩЕСТВО . . . . . 239**

Смерть интеллигенции . . . . . 241

---

ГУЛАГ и коллективная вина . . . . .	262
Большое гражданское общество . . . . .	268
<b>ТРАДИЦИЯ</b> . . . . .	275
Переосмысление традиции . . . . .	277
Типология направлений консервативной мысли . . . . .	284
Трансформация консервативной повестки . . . . .	293
Образ будущего и социал-традиция . . . . .	300
<b>Заключение</b> . . . . .	313
Об авторе . . . . .	316

Научное издание

**Щипков Александр Владимирович**

**ВОПРОСЫ ИДЕОЛОГИИ**

Ответственная за выпуск А. Ю. Голосовская  
Макет и компьютерная верстка Е. Э. Алексеевой  
Оформление Ю. В. Меньшиковой  
Корректор М. Д. Надёжина

Подписано в печать 16.04.2018 г.  
Бумага офсетная. Гарнитура «BodoniC».  
Формат 84x108/32. Уч.-изд. л.  
Тираж 500 экз. Заказ №

ООО «Торговый дом «Абрис»  
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 3.

По вопросам приобретения продукции  
просим обращаться по следующим адресам:

**Интернет-магазин «АБРИС»**

**www.tdabris.ru**

8 (495) 981-10-39;

8 (926) 611-98-46

zakaz@tdabris.ru

Доставка по России курьерскими  
службами, транспортными компаниями  
и Почтой России

**г. Москва и регионы РФ**

ООО «Торговый дом «Абрис»

г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16,  
стр. 1

*По вопросам оптового приобретения  
продукции:*

8 (495) 229-67-59 (многоканальный)

**г. Санкт-Петербург**

ООО «Абрис СПб»

*По вопросам розничного приобретения  
продукции:*

**Книжная ярмарка**

**ДК им. Крупской,**

пр. Обуховской Обороны, д. 105,  
павильон № 43

(ст. м. «Елизаровская»)

8 (812) 335-01-61

*По вопросам оптового приобретения  
продукции:*

Железнодорожный пр., д. 20

(ст. м. «Ломоносовская»)

8 (812) 612-11-03;

8 (812) 327-04-50 (51)

info@prosv-spb.ru

**г. Грозный**

ООО «Центр образования «Абрис»

*По вопросам розничного и оптового  
приобретения продукции:*

ул. Индустриальная, д. 4

8 (929) 246-98-26;

8 (929) 247-05-62

abris95@textbook.ru

**г. Калуга**

ООО «Школьный МИР»

*По вопросам розничного и оптового  
приобретения продукции:*

ул. Достоевского, д. 29,

помещение 66

Тел./факс: 8 (4842) 57-58-51;

8 (910) 866-51-81

oomir40@yandex.ru

**г. Киров**

ООО «Абрис Вятка»

*По вопросам розничного и оптового  
приобретения продукции:*

ул. Комсомольская, д. 63

8 (8332) 699-668;

8 (8332) 705-805

AbriSVTK@textbook.ru

**г. Симферополь**

ООО «Торговый дом «Абрис»

*По вопросам розничного приобретения  
продукции:*

Магазин «Школьный мир»,

ул. Ленина, д. 27. 8 (978) 092-85-17

*По вопросам оптового приобретения  
продукции:*

ул. Крылова, д. 172

8 (3652) 78-83-65;

8 (978) 091-05-91

znanic@textbook.ru

**г. Тула**

ООО «Абрис-Тула»

*По вопросам розничного и оптового  
приобретения продукции:*

Ул. Советская, д. 59, этаж 2,

офис 205

8 (920) 756-33-30;

8 (920) 777-89-80

AbriS71@textbook.ru

**г. Уфа**

ООО «Абрис-Уфа»

*По вопросам розничного и оптового  
приобретения продукции:*

Проспект Октября, д. 97/1, помещение 1

8 (347) 246-46-11;

8 (347) 246-38-01

AbriSUfa@textbook.ru